



НОВАЯ ПОЛЬША 7-8/2016

Выпуск изображений



Инга Ивасюв (1963) – писательница, литературовед, критик. Ее причисляют к феминистскому направлению литературной критики. «Тридцать лет назад, мое феминистское прочтение литературных текстов оказалось для Польши новаторским. Теперь это очень неплохо развитая область», – сказала сама в интервью, которое мы публикуем в этом номере.



Инга Ивасюв родилась и живет в Щецине. Она является организатором культурной и интеллектуальной жизни города. В частности, по ее идее была учреждена Литературная премия для авторов-женщин «Грыфия», целью которой является продвижение творчества женщин. В 2010 г. писательница удостоилась почетного звания посла г. Щецина.



Как ученая, профессор Инга Ивасюв занимается польской литературой XX и XXI века. Наряду с книгами из области литературоведения, она опубликовала несколько книг как прозаических, так и поэтических. «Я просто встаю утром, работаю, пишу. Отнимите у меня эту возможность — и я не буду знать, чем заняться», говорит в интервью Инга Ивасюв.

Содержание

1. К Леху Валенсе
2. Я на вас рассчитываю
3. Хроника (некоторых) текущих событий
4. Сила духа и прощение
5. О Бжозовском
6. Сладостные результаты экспорта
7. Европейцы хотят отведать польского пива
8. Что нас не убило, сделало нас сильнее
9. Ольшевские, Кульчики
10. Что от бизнесмена, а что — от частника
11. Коррупции у нас все меньше
12. Актер
13. Выписки из культурной периодики
14. Стихотворения
15. Общность переживания
16. Культурная хроника
17. Семинар «Солженицин в Польше»
18. В Петербурге опубликованы «Оккупационные эссе» Чеслава Милоша
19. Многозвучный Лесьмян: разнообразие литературных контекстов и связей
20. Брак
21. Комната прозы
22. Мир утраченный — мир запечатленный
23. Новая легенда
24. Проза Деборы Фогель
25. Покаяние
26. Да здравствуют заговоры!
27. Песнь уборщицы
28. Путешествующий философ

Чеслав Милош

К Леху Валенсе

Перевод Никиты Кузнецова

Двести лет пролетело, Лех Валенса,
Двести лет мы обретали и вновь теряли надежду,
Но теперь ты стал вождем польского народа
И, как тот, прежний, противостоишь державам.

Горьки знания наши, Лех Валенса.
В каждом поколении должна быть жертва,
Могилы героев безымянны,
Торжествуют предатели с палачами,
Чьих сынов и дочерей нам придется простить.

Горько нам узнавать, какова сила рабства.
Оно — в глотке воды, в яблоке и хлебе,
В раннем свете на стеклах, в сумерках вечерних,
Оно не покидает нас в любви и в работе,
И предупреденный сон тоже им полон.

Оно кроется в буквах письменного слова,
И польские книги говорят лишь об этом.
Затемняет цвета на полотнах живописцев,
Покрывает серым городские постройки.

Не знаю, имеет ли право, Лех Валенса,
Обращаться к тебе тот, кто избрал чужбину
И не желает ежедневно думать о рабстве,
Хотя понимает, что думать должен.

март 1982

Я на вас рассчитываю

Встреча Леха Валенсы со студентами и преподавателями Ягеллонского университета в Кракове в 1989 году



Фото: Maciej Macierzynski/Reporter.

9-10 февраля председатель «Солидарности» Лех Валенса побывал в Кракове. 9 февраля он встретился с прихожанами храма в Мистшеёвице. 10-го его принял архиепископ Краковский кардинал Махарский, после чего Валенса поехал в старейший польский университет на встречу с университетской общественностью, которая была верна демократическим идеалам «Солидарности» в течение всех прошедших лет. В актовом зале Леха Валенсу приветствовал ректор А. Кой.

Лех Валенса начал встречу вступительным словом.

— Я всего лишь рабочий и очень нервничаю. Надеюсь, однако, что вам удастся передать свою мудрость мне и нам, чтобы мы могли сделать для страны как можно больше. Вы в лучшем положении, чем я: вы обо мне почти все знаете из печати и

телевидения, которые в последнее время, к моему изумлению, постоянно обо мне говорят. Я о вас знаю не очень много: я недостаточно ходил в школу. Как Лех Валенса, как лауреат Нобелевской премии мира, я ищу мест и обстоятельств, чтобы в Польше наступили мир, спокойствие и согласие. Согласие строит, разногласие разрушает. Многие люди на встречах со мной говорили так: «Пан Лех, в 80-м году вы тоже так говорили, и что сделали с вашей наивностью? Теперь будет то же самое». А я отвечаю: «В 80-м году я никому не верил и теперь никому не верю». (Бурные аплодисменты.) Но вам я тоже скажу: «Не верьте и пройдохам вроде Леха Валенсы. Верьте в себя и верьте в культуру». «Круглый стол» может только создать плюралистические возможности, а ваша мудрость должна помочь употребить их в дело. Вы должны верить в себя, выстроить структуры, которые введут Польшу в Европу и мир. Этого не сделает ни Лех Валенса, ни его группа. Вам, вам самим нужно поверить в себя, чтобы вырваться из системы, в которой вам пришлось жить.

Партийная, экономическая и профсоюзная монополия привела к тому, что Польша сегодня тормозит развитие мира. Польшу сегодня надо преобразовывать, и этого не сделают одни рабочие. Ваша мудрость должна выстроить другую, лучшую Польшу! А если вы этого не сделаете, тогда начнется рукопашная, тогда-то и вы, поскольку не сделали этого, заплатите, как и все общество, цену, которой можно избежать.

Переходный период — это самая тяжкая проблема: теоретически — как с правительственной стороны, так и с общественной — проклюнулись какие-то возможности, но превратить их в действия очень трудно. Опять-таки вы должны, ваш ум и опыт должны особенно потрудиться, чтобы помочь всем тем людям, которые разрабатывают программы, чтобы сделать это спокойно, хорошо, но в то же время и безопасно, и творчески, чтобы Польша стала нашей Польшей.

Перед тем как отвечать на вопросы, Лех Валенса еще сказал:

— Теперь я хотел бы перейти к прямому разговору с вами не потому, что я не в состоянии говорить дальше, но потому, что я хочу, чтобы вы влили в меня вашу мудрость, ставя вопросы и проблемы, а я постараюсь эту мудрость употребить на общее благо. Чтобы мы могли хорошо работать, мы должны понять друг друга; когда будет понимание, тогда и труд наш принесет результаты. Должно быть ясно, чего мы хотим, что делаем, настолько ли мы серьезны, чтобы на нас делали ставку, чтобы нас тоже сменили, когда настанет необходимость, во имя того, что Польша не принадлежит ни Леху Валенсе, ни генералу, ни

Службе безопасности, а принадлежит всем нам, как принадлежала нашим предкам и будет принадлежать нашим детям.

Затем представитель студентов поблагодарил Леха Валенсу за то, что он за «круглым столом» выступил в поддержку Независимого союза студентов. После этого начались вопросы.

— Отдает ли себе отчет Общепольская исполнительная комиссия в том, что правительство ПНР намерено использовать присутствие «Солидарности» за «круглым столом» для успокоения общественных настроений? — Мы отдаем себе отчет, но, как я сказал в начале, я верю в вас! Верю в вашу мудрость и верю, что вы не поддадитесь! Мы лишь должны создать такую ситуацию, в которой вы сможете организовать, чтобы не случилось так, как кто-то в этом вопросе предвидит... Верю в вас, в структуры, которые защитятся и не позволят манипулировать обществом или снова оставить его ни с чем. — Правительственная сторона много говорит об ответственности общества за судьбы страны. Однако отвечать можно только за свои действия. Можно ли принимать ответственность за монопольно правящую партию, на которую мы не имеем влияния? Целью «Солидарности», ради блага демократии, должно стать обретение серьезного участия в законодательной и контрольной власти в Польше. — Вспоминаю свои слова, сказанные в начале заседаний «круглого стола»: «Доля ответственности такова, какова доля участия». Сейчас я везде слышу: «Проведем действительно свободные выборы, и в Польше будет лучше!» А я, практик, отвечаю: «Будет в десять раз хуже». Потому что свыше сорока лет мы жили без плюрализма, программ и организаций. Сегодня на свободных выборах мы злобно предъявим счет и всех их попросту вышвырнем. И придут люди замечательные, но не имеющие представления обо всей стране, а к этому еще прибавится злоба тех, с кем так обошлись за их столь замечательное сорокалетнее правление... Сегодня нам приходится с огорчением сказать, что мы не можем, как раньше, говорить о бойкоте выборов, сегодня мы можем заменить нескольких нехороших людей хорошими, создать программы и только организованным путем, через сколько-то там лет, когда хорошо узнаем друг друга, сможем претендовать на лучшее управление страной, чем сегодня. Эти «осколочные» организации, такие, как КНП (Конфедерация независимой Польши. — Пер.) и другие, я называю организациями «назло». Однако они не могут претендовать на то, что возьмут в свои руки власть в стране. Для этого надо годами воспитывать людей. Впервые я не могу сказать «бойкот выборов», потому

что в пользу бойкота у меня нет аргументов. Власть говорит так: «Мы открываем плюралистические возможности. Вы можете организоваться почти во все структуры». Дают места в парламенте. Сегодня мы в состоянии выдвинуть в 13 воеводствах людей, в которых можем быть уверены. В других местах тоже есть хорошие люди, но мы их не знаем. Вдобавок как профсоюз мы не имеем права, мы не политическая партия, мы сделаем это плохо... Если они хотят нас обмануть, то будем быстро выжимать плюрализм объединений, плюрализм политический и профсоюзный, экономический и на нем строить, обучать людей и только тогда преобразовывать Польшу в лучшую Польшу. Молодежь часто отвечает мне: «Пан Лех, с нас хватит, пора браться за камни». А я говорю: «При хорошей организованности можно сделать революцию, такую, как сделали 13 декабря. То есть забрать все у владельцев и фабрикантов, все забрать, поставить сержантов, пересажать, то есть ввести систему типа нашей. Обратный ход не может идти революционным путем. Нельзя навязывать, кому быть пекарем, портным, ученым, это будет строить только жизнь, когда мы создадим возможности. Революционный путь лишен логики. Программу несет жизнь, если созданы возможности. Если мы пойдем путем молодежи, претензии которой справедливы, мы все равно придем к тому, что говорит Валенса, только с набитыми шишками от камней...». — Видите ли вы в будущем целесообразность создания политической партии «Солидарность»? — «Солидарность» с самого начала была и остается реформой, которая назвала себя «Солидарностью». Эта реформа в разное время выглядела по-разному. В 80-м были эмоции, забастовки, плакаты, и иначе быть не могло, так как один батальон ЗОМО разогнал бы нас... Можно задавать вопрос, имела ли «Солидарность» шансы перейти от этого отрицания к созданию программы и ее осуществлению. На пути было 13 декабря, и эту реформу остановили. Но не решили никаких проблем. Продолжение должно последовать. 12 декабря, когда меня арестовали, я сказал: «Дорогие господа, на трассе XXI века победили мы — вы победили на трассе XVII века. Встретимся на дороге реформ — на коленях придете». Нехорошо сказал: о коленях было слегка садистски, позднее я от этого отказался, но мы встречаемся на дороге реформ. То, что мы предлагаем, это не выдумка Леха Валенсы, Горбачева, «Солидарности» — это требование времени, эпохи, в которую мы живем. Чем выше развитие цивилизации, тем больше свободы.

Затем слово взял главный редактор «Тыгодника повсехного» Ежи Турович. Он, в частности, сказал:

— Думаю, что присутствие Леха Валенсы среди студентов и преподавателей Ягеллонского университета, который — чем я горд — и моя Альма-матер — символ великого дела, того, что свершилось на Гданьской судовой верфи в августе 80-го года, союза между миром трудящихся, рабочими и, с другой стороны, интеллигенцией и молодежью. Этот союз был принципиальным элементом того большого общественного движения, которое, несмотря на трудности, под руководством Леха Валенсы привело к сегодняшней ситуации, когда легализация «Солидарности» и, пожалуй, также Независимого союза студентов кажется делом ближайшего момента. Думаю, что это поможет нам превратить «реальный социализм» в «социализм с человеческим лицом».

Валенса. Мой социализм выглядит так. Представим себе три пекарни: государственную, кооперативную и частную, — вот та, что печет лучший хлеб и самые дешевые булочки, и будет социалистической. Это мой практический социализм. Я практик. Вы, теоретики, представляете дело теоретически, и это логично. Как практик, я не могу говорить о коммунизме ни хорошо, ни плохо, потому что я его не знаю, я знаю сталинизм, и о нем могу говорить много, потому что сам его испытал на собственной шкуре.

Вопрос. Оказала ли «Солидарность» влияние на перемены, происходящие в СССР? Считаете ли вы нужной, например, вашу — как представителя польского общества — встречу с представителями властей СССР и как в существующих обстоятельствах видите возможность такой встречи?

— Будучи деятелем, Лех Валенса должен чувствовать себя как тренер. Тяжесть должна соответствовать тренированности. Если тренер при первой встрече заставит молодежь поднимать вес в 500 кг, то одни уронят, другие убегут, а останется мало кто. Это я, а не, простите, советники Леха Валенсы придумал этот пример: «дробь Валенсы». Во всех странах нашей системы один и тот же «знаменатель», то есть проблемы, связанные с номенклатурой и вообще с беспорядком нашего социалистического устройства. И этот наш «знаменатель» мы все должны сменить. Смена совершается с помощью «числителей», а они в каждой стране разные. У Советского Союза свои «числители», там много проблем великой державы. А у Польши, в «числителе» — независимая Церковь, крестьянство, в значительной степени свободное, группа вокруг Валенсы и много чего другого. У ГДР — это ФРГ, которая всегда ей поможет. Можно размышлять, у кого самый

интересный «числитель» для реформ. Если бы не психологические комплексы военного типа и другие, лучший «числитель» был бы у ГДР. Если мы хорошо присмотримся, то увидим, что самый интересный «числитель» у Польши, поскольку у нее есть некоторая независимость, много западной культуры, Церковь, крестьянство, Папа и т.д. Надо бы постараться, чтобы наши реформы, наша смена «знаменателя» могла быть образцовой сменой. Это не мессианизм и не польский романтизм — это реальность. Когда я был в Париже, у меня был интересный разговор с пани Боннэр и Сахаровым. Они подтвердили то, что я предполагал: что «множитель» Советского Союза очень неинтересный, и что люди там не хотят ответственности и не хотят работать. 80% так думают, и не сумеют пользоваться свободой. И не умеют, и не хотят. По моей оценке, у нас около 15% не умеют и не хотят пользоваться свободой. Такие искривления создала система. У меня есть товарищи по работе на верфи, которые тоже не хотят никаких плюрализмов, лишь бы дорваться до пенсии. У нас тоже есть такие проблемы. И поэтому мы должны взяться за работу, создать структуры, которые восстановят нормальное человеческое поведение. Иначе мы станем только «рудником умов», как Ирландия, отсюда будут только уезжать и бежать, этот край будет и дальше рушиться.

Затем слово взял Ян Юзеф Щепанский. Он, в частности, сказал:

— Я испытываю тревогу, когда речь идет об иерархии проблем, предусмотренных для обсуждения за «круглым столом». Два вопроса капитального значения должны рассматриваться в первую очередь: независимость судов и экология. Для «Солидарности» как профсоюза последняя проблема может оказаться проблематичной, ибо надо закрывать отравляющие предприятия и тем самым входить в конфликт с интересами трудовых коллективов... Шведский туристический путеводитель рекомендует туристу находиться в Кракове не дольше 48 часов! Это, конечно, преувеличение, но небольшое. Думаю, что для наших детей это станет действительно вопросом жизни и смерти.

Валенса. Игра идет командами, и я — капитан команды. А играют все. Решения вопросов должны находить специалисты. Если у вас или у кого-то в этом зале есть что сказать — пожалуйста. Прошу вас, интересы наши общие, Польша наша общая. Где бы вы ни увидели недостатки, ошибки Валенсы и всех нас, сообщайте как можно скорее через пана Туровича, с которым я в контакте, через Мечислава Гиля, передавайте

замечания. Ибо, как я сказал, интересы наши общие, и мы должны этот командный матч хорошо сыграть. Когда-то я сказал: нам угрожает не Варшавский договор и не НАТО. Я боюсь, как бы мы не встретились в один прекрасный день на облачке и не спрашивали, кто из какого блока, в результате таких опасностей, как Чернобыль, кислотные дожди и т. п. На эти темы мы будем говорить. Также и на правовые темы, которые мы считаем важнейшей проблемой. Сделаем мы это в первую или во вторую неделю, не имеет особого значения. Столько лет ждали, наверное, еще будет несколько дурных приговоров, лишь бы не на слишком долгие сроки. Надеюсь (Щепанскому), что вы присоединитесь к нам и поможете решить эти проблемы.

Следующие вопросы относились к Независимому союзу студентов.

Валенса: Я в своей речи подчеркнул проблему НСС и считаю ее важной. Однако мне нелегко договориться с молодежью. Одни швыряют камнями, другие меня обзывают, третьи хотят организоваться, четвертые не хотят и т.д. Молодежь попросту очень сильно расшатана. У рабочей молодежи свои проблемы, у студенческой — свои, еще старшеклассники и т.д. Я не могу хорошо это организовать. Не потому, что не хочу, — очень хочу. Но молодежь очень плюралистична. Может, у меня мало контактов, может, времени не было... Однако все мы заинтересованы в том, чтобы у наших детей была возможность организоваться, и о молодежи мы будем говорить за «круглым столом». Не подозревайте нас в плохом отношении.

— У нас будет новая «Солидарность». Но ведь старый устав соответствовал конституции. Как вы на это смотрите?

— Я не имею права принимать решения за съезды, которые примут устав. Я, Лех Валенса, и те, что со мной, должны открыть возможность, чтобы «Солидарность» могла провести свои съезды, но не в костелах и криптах, а на своих рабочих местах, легально и спокойно, и чтобы она могла определить свое отношение к уставу и программе. Какая будет «Солидарность»? Не знаю. У меня есть своя точка зрения, но это моя точка зрения! Я исключительно хочу довести дело до съезда, месяцем раньше всюду надо развесить объявления, чтобы никто никого не обманул, не устроил сектантских

выборов, чтобы пришли люди борьбы, но не только они. Ибо это будет время, когда откроется больше возможностей труда, чем борьбы. Надо будет тормозить инерцию борьбы и работать не покладая рук. Люди борьбы особенно трудиться не сумеют, поэтому выбирайте хорошо, чтобы мы не только сражались с ветряными мельницами, а прежде всего строили эти мельницы. Вы должны выбрать честно и получше, на другое время. Сейчас мы выбираем только для того, чтобы привести к нормальности, которая определит другие дела. Зато я в этой нормальности принимать участия не буду. Я отдал 18 лет каторжной работе! Я, скорее, человек борьбы. Это не смирение, не страх, не отсутствие ответственности. Нет, просто я считаю, что есть отличные, замечательные люди, а у меня слишком много накопилось, слишком много я видел, слишком много слышал, это меня отягощает. Я должен открыть дорогу, потому что выхода нет. А вы положите начало, да чтоб это вышло хорошо, потому что мне хотелось бы всему этому радоваться. А если окажется плохо, то придется мне ко всему этому вернуться, конечно, потому что я не позволю. (Аплодисменты).

— По-прежнему продолжается скрытый террор. У нас в университете за последнее время зверски избили и искалечили двух девушек. Можно ли рассчитывать на то, что «круглый стол» не станет эйфорией, за которой исчезнут конкретные сегодняшние человеческие трагедии?

— Я узнал об этих случаях в храме и обратился: «Господа, укоротите лапки! Мы дознаемся, кто это делает, кто теперь нам мешает в очень трудном положении». Мы обращаемся к «Безпеке» (госбезопасности. — Пер.) и другим: уберите лапки, а то будем наручники надевать! Этого делать нельзя! (Продолжительные аплодисменты.) Мы не хотим сводить счеты, не хотим судить, но одновременно обращаемся: Польша нуждается в спокойствии, но Польша нуждается и в законе, и закону вы должны подчиниться.

— Можно ли указать хотя бы представителю правительства по делам печати (и не только ему), что его наглость и агрессивный тон побуждают «неизвестных преступников» к такого рода действиям?

— Я вчера сказал об этом, и поэтому по телевидению почти не было Валенсы. Я сказал, что представитель по делам печати становится все более непонятным. Пан Урбан, что вы делаете? Вы провоцируете! И из-за этого я не попал в телепередачи... Но это просто вспышки, все мы изнервничались, не будем ругаться... (Эта фраза, по-видимому, ответ Урбана. — Пер.) Если мы не проведем мирную, эволюционную реформу, то нам

грозит революция. Не будем предаваться иллюзиям: молодежь еще чуть-чуть — и выйдет на улицы, будет бить, будет жечь! И поэтому надо сказать, пан Урбан: вас тоже достанут, других тоже достанут, а как Польша мы заплатим дорогой ценой! (Аплодисменты.) Я ко всем и всюду обращаюсь: к рабочим, к учителям, к органам здравоохранения, ко всем людям. В Польше очень тяжело, всякий вправе забастовать... Но сейчас дадим шанс «круглому столу». Я не знаю, обман ли это. Но сейчас дадим ему шанс. Если ничего не выйдет, будем бороться вместе, Валенса первым пойдет, но сейчас мы должны сосредоточиться. Снова мне теперь подожгли, известно, конечно, кто поджег, очередную забастовку мне устроили, одну мы погасили, разожгли другую. Правы ли они? Правы! Условия жизни катастрофические! Это правда! Но нужно ли это сейчас, когда мы создаем, когда хотим навести порядок? Я призываю всех обладающих чувством ответственности людей в этой стране дать шесть недель шансов «круглому столу»! Потом будем бороться, если потребуется. Но организованно. А сегодня не надо бороться, а то раздуем — кто-нибудь скажет, что Валенса, и вот уж мы не на коне! Кто-то хочет нам сорвать реформу! Военное положение ввести из-за этой безалаберности! Где эти герои были в течение семи лет? Где Медович был, ныне большой герой? (Аплодисменты.) Я не хочу вас обижать, пан Медович. Не хочу обижать членов новых профсоюзов. Хочу, чтобы было место для всех. Это нервы, человек может разнервничаться, Валенса тоже. Я хочу, чтобы был плюрализм, не хочу, чтобы тот профсоюз не существовал, хочу, чтобы было по крайней мере три разных, сильных профсоюза, чтобы мы конкурировали, но не противостояли друг другу! И вот тут, пан Медович, обуздай своих людей, я постараюсь — своих, попробуем реформировать и договариваться, попробуем создать Польшу как можно скорее, как можно лучше. И не будем провоцировать, а то все за это заплатим, и вы, пан Медович, и я тоже! — Вы сели за «круглый стол» с теми, кто вам — и не только вам — нанес обиды (об одном, Урбане, тут говорилось). Готовы ли вы сесть за «круглый стол» с той оппозицией, которая в настоящий момент этого не одобряет? — Готов. Польша принадлежит всем, в том числе и тем, кто не согласен. Мало того, я не могу сказать, что они не правы. Если «круглый стол» будет огромным мошенничеством, то окажется, что я был не прав. Я — лауреат Нобелевской премии мира, я ищу всех вас, до самых малых, чтобы было согласие! Я этого не стыжусь и не со страху это делаю! Но в то же время я осторожно отношусь к тем, кто не верит, у кого такой опыт, как у них. Они имеют право, да только я могу быть каскадером сам в одиночку (и не раз бывал), но не могу из вас делать каскадеров. Я должен спросить, проконсультироваться

внутри и снаружи, увидеть, какие грозят опасности, использовать все шансы. Но я должен искать решение проблем. У других нет этой нагрузки, но это не значит, что они не правы... Лишь бы боролись не между собой, пусть не борются с единством, пусть не мешают.

Я занимаюсь «круглым столом», а смотрите, что мне устроила молодежь в воскресенье (в Гданьске. — Пер.)! Кто-то здешний мне сказал, что была демонстрация против Валенсы. А вот, извините, она была не против Валенсы! А молодежь, поскольку я им сделал внушение за то, что не платят штрафы (свящ. Янковский отказался продолжать выплачивать штрафы, назначенные административными судами молодым демонстрантам. — Г.П.), закричала: «Анджея Гвязду — за «круглый стол»!» Да ведь Анджей Гвязда — противник стола, так как мне его посадить за стол, когда он это считает ошибкой?! И поэтому, дорогая молодежь, сначала надо послушать программы. Я знаю, что никто не любит лидеров, никто не любит первых. Валенса — первый, но нечего сразу на меня.

Следующий вопрос касался того, как гарантировать за «круглым столом» интересы тех, кто отказывается от службы в армии. Спрашивали также, займется ли «круглый стол» вопросом о помехах отправлению религиозного культа в армии.

— Я борюсь за то, чтобы все течения нашли себе место. За «круглым столом» уже был епископ, есть два священника. Но одновременно повторяю. Моя вера — мое личное дело, ее нельзя никому навязывать, у каждого своя свободная воля. В профсоюзе, который я возглавляю (это и не левацкий профсоюз, и не правый), я молебнов не буду служить, а в церковь хожу. Но это мое дело. Я буду строить храмы, но в частном порядке. Каждого, у кого другая вера, я уважаю, и с этим у меня не будет никаких проблем, если речь идет о Валенсе. Как вы знаете, очень близко от меня — люди другой веры, мне это не мешает, пусть себе верят: ни они мне не мешают, ни я им. Чего я хочу — так это использовать всякую мудрость для Польши. Если кто-нибудь умен, то почему я его как инаковерующего не использую для строительства Польши? Я это делаю и буду делать! А те дела, думаю, Церковь устроит, у нее долгие традиции! Я рад, что вы этот вопрос затронули, но надо помнить, что я не хочу быть более католическим, чем сам Папа. Я — Лех Валенса, электрик, и я вынужден быть

профсоюзным деятелем, а то оставляю людям умным, которые за это отвечают и знают, что делать. Следующие вопросы касаются Конфедерации независимой Польши. — Я знаком с паном Лехом (Лешеком Мочульским. — Пер.), отношусь к нему с уважением... Только повторяю: КНП — организация больше «назло» этой власти. Их программа не имела времени стать серьезной программой. Меня пригласили на 3-й съезд КНП, который проходил за день до «круглого стола». Милые мои, я все понимаю, но, тем не менее, когда Лех Валенса, когда большинство общества приглашены за «круглый стол», то надо дать ему этот шанс. Надо было устроить это раньше или позже. А сейчас это очень опасно, и тут я, пан Лех Мочульский, обращаю ваше внимание публично, что так поступать нельзя... Я хочу, чтобы вы действовали, свобода должна вам это гарантировать. Но дадим шанс другим течениям, не будем устраивать коллизий, вступать в конфронтацию, а то, если бы власть посадила всех (участников съезда КНП. — Пер.), «круглый стол» рухнул бы... Вы создали очень нехорошую ситуацию, очень невыгодную, и так коллеги не поступают. Я благодарю за приглашение, на следующий съезд постараюсь приехать, лишь бы он не конкурировал с другими делами, за которые я отвечаю. (Аплодисменты.).

— Реально ли ожидание, что народ выдержит длительный переходный период, притом в нынешнем экономическом положении? Не было бы потрясение единственным способом вызвать перелом в настроениях усталого и ни во что уже не верящего общества?

— Простите, я как понимаю «потрясение»? Это сколько людей надо застрелить — тысячу, пять тысяч? Вот что такое потрясение. Всякое иное потрясение мы уже пережили, даже военное положение. Об этом и подумать нельзя! Тогда о каком потрясении идет речь? Забастовки? Тоже умеем уже устраивать и большие, и малые. Так что это потрясение было бы крайне опасным, и я хотел бы его избежать. Умных и сознательных людей в Польше много, только надо, чтобы они поверили в себя, чтобы больше почувствовали свою миссию и ответственность за тех, кто думает нехорошее, — мы все вместе в этом повинны. Не допустим этого, ибо если наступит потрясение, то посмотрим, кого из нас не будет на следующей встрече. Такие дела не выбирают... скорее, случайных людей берут. Поэтому мы не нуждаемся в таких потрясениях. Нам нужно быть более солидарными: там, где это возможно, быть вместе, но там, где хотим отдельно, иметь такую возможность,

и чтоб друг другу не мешать... И поэтому повторяю: я очень верю, что нам удастся, потому что иного пути нет, потому что даже после этого потрясения, после этих синяков и шишек мы все равно окажемся в том же месте и надо будет решать те же проблемы.

Потом был передан привет от гуралей и приглашение в Татры, «чтобы заспавшихся рыцарей под Гевонтом разбудить».

— Два года подряд я ездил в Закопане... горы меня приняли... И в этом году хотел поехать, но не было снега, да и условия, «круглый стол» не дали мне покататься. Думаю, в будущем году уже будут профсоюзы, будете уже нормально организованы, а я тогда возьму отпуск и буду кататься с гуралами... Последний вопрос задал студент от имени НСС. Он спрашивал о смысле нового закона о высшей школе и предлагал ликвидировать деление культуры на официально разрешенную, подпольную и эмигрантскую, чего, по его мнению, можно достичь отменой предварительной цензуры и радикальным пересмотром закона о печати. — Вы в своей группе должны эти темы затронуть! Я верю, что там есть умные люди, которые разбираются в проблемах цензуры... Я на этот вопрос тоже обращаю внимание, но думаю, что пан Турович, который с цензурой много имел дела, сделает это лучше, чем я.

В заключение встречи Валенса, в частности, сказал: — Договоримся, что я всегда в вашем распоряжении. В то же время очень прошу: либо отвергните то, что я говорю, либо поддерживайте путь, смысл которого в том, что Польша нуждается в согласии. Согласие строит, разногласие разрушает. Мы все ответственны за Польшу. Не время устраивать трибуналы и не время устраивать битвы. Время нам как можно скорее договориться и взяться — каждому в пределах своих возможностей — за Польшу, чтобы оставить ее нашим детям лучшей. Нет другого пути. Это необходимость, это патриотический долг. Я в это верю, я верю, что разум победит, что нам хватит сил на строительство Польши — впервые — по-другому. Мы должны найти польскую модель согласия, приспособления, перестройки. Чтобы как можно больше строить, чтобы удержать молодежь, у которой жуткие условия жизни и создания семьи... Они бегут из страны, к родине относятся как к мачехе, крестьяне бросают землю. На вас лежит ответственность пробуждать патриотизм и обучать ему. Здесь кровь наших предков, здесь место наших детей. Мир убегает, а мы вовсе не глупее и не хуже, только у нас была дрянная

система, система порабощения. Но и сами мы поддались безвольно всему этому.

Конечно, была страшная цена, многие ее заплатили, но тем больше это обязывает нас все силы изыскать для Польши, ибо она в этом нуждается. Если я кого-нибудь обидел, я этого не хотел, прошу прощения. Прошу прощения у тех, кому втык сделал, прошу прощения у тех, кого невольно уколол. Я все хочу отдать Польше. И думаю, что не будем обижаться, подумаем, как из этого лучше выйти. Чтобы Польша доехала до Европы и не была больным ребенком Европы. Всего доброго!».

К печати подготовил Гжегож Пшебинда. С польского перевела Наталья Горбаневская, «Русская мысль», 17 марта 1989, с. 4; 24 марта 1989, с. 5.

Готовя к публикации в «Новой Польше» запись выступления руководителя «Солидарности» Леха Валенсы, сделанную в феврале 1989 года в Ягеллонском университете, я нашел отрывок из воспоминаний 2010 года одного из организаторов этой встречи, профессора Анджея Фулинского. Вот что он рассказывает: «Нашим главным успехом было тогда посещение Лехом Валенсой Ягеллонского университета 9 февраля 1989 года. (...) Валенсу официально пригласил ректор Александр Кой. Это было первое после 1981 года выступление Валенсы в общественном месте по официальному приглашению, а не, к примеру, где-то в церкви. (...) Валенса был сильно взволнован, когда подписывал памятную книгу Ягеллонского университета, — в ней же есть подписи королей Польши. Толпа была такая, что я еле вошел в «Коллегиум новум». Все со значками «Солидарности» или Независимого союза студентов. (...) Валенса на митинге оказался настоящим «политическим животным». Настроение было необыкновенное. Мы решили, что вопросы будут задаваться в письменном виде, чтобы люди не перекрикивали друг друга (...). Потом кто-то из университетской, радикально антикоммунистической Конфедерации независимой Польши устроил мне дикий скандал, что я не дал им высказаться. А мы знали, что днем раньше была встреча с Валенсой в храме в Новой Гуте — Мистшеёвице, на которой Конфедерация независимой Польши

устроила ему «промывание мозгов». (...) Одна из записок, приглашающая Валенсу «в Татры, чтобы он разбудил рыцарей из-под Гевонта», была написана на гуральском диалекте». («Времена «Солидарности» в Ягеллонском университете 1980–1989 гг. в воспоминаниях». Беседовал Анджей Кобос, Краков 2010). На меня эта встреча тоже, видимо, произвела большое впечатление, раз я не только записал ее на магнитофон, но и послал машинопись в Париж, к русским друзьям из «Русской мысли». А там уже Наташа Горбаневская все сразу перевела, и, по распоряжению Ирины Иловой-Альберти, главного редактора еженедельника, запись выступления появилась в «Русской мысли». Я считаю, что хорошо бы его сейчас вспомнить, впрочем, не только потому, что оно является прекрасным доказательством абсолютной независимости Леха Валенсы, которым в конце 80-х совершенно точно не манипулировали никакие тайные службы.

Гжегож Пшебинда

Хроника (некоторых) текущих событий

• «Сегодня мы ведем борьбу за наш суверенитет. Европейские круги не уважают его, а значит, не уважают Польшу и поляков. (...) За всем этим стоят определенные интересы. Польша, полностью подчиняющаяся Германии, лишенная индивидуальности и правосубъектности, позволяющая эксплуатировать себя в качестве дешевой рабочей силы, очень выгодна Германии и другим странам ЕС. И на того, кто решится изменить этот порядок вещей, всегда будут нападать. (...) Нужно защищать польский суверенитет и право поляков выбрать себе то правительство, которое решилось многое изменить в Польше. Именно это право и пытаются сейчас оспорить. (...) Когда мы в Польше наконец-то возьмемся за решение этих вопросов, а я надеюсь, что у прокуратуры дойдут до них руки, наверняка раздадутся вопли о преследовании оппозиции и нарушении демократии», — Ярослав Качинский. («До жечи», 30 мая — 5 июня)

• «Европейские элиты никак не могут смириться с демократическим выбором поляков. Этот выбор им весьма не по нраву, поскольку совершенно не соответствует их интересам. И это очевидно. Мы, в свою очередь, уполномочены нашими избирателями защищать интересы Польши. (...) И с этого пути мы не свернем ни на шаг», — Ярослав Качинский. («Газета польска», 25 мая)

• «Замечания Европейской комиссии связаны с тем, что президент не принял присягу судей Конституционного суда, избранных Сеймом предыдущего созыва, а премьер-министр не опубликовала решение КС относительно изменений в законе о КС, инициированных ПиС, а также с угрозой правового дуализма, к которому ведет отказ правительства опубликовать решения КС. Если ситуация по какой-то из этих проблем изменится до понедельника, Европейская комиссия может приостановить процедуру введения мониторинга законности в Польше. В случае же, если все останется по-прежнему, либо позиция правительства покажется Европейской комиссии малоубедительной, последняя выдаст официальное заключение о своих подозрениях относительно нарушений в

Польше режима законности». (Гжегож Осецкий, Якуб Капишевский, «Дзенник газета правна», 19 мая)

- «Официальную позицию правительства (...) представила вчера в Сейме премьер-министр Беата Шидло. “Брюссель не будет диктовать нам содержание польских законов. Мы будем бороться за наш суверенитет”, — заявила Шидло». (Клаудия Дадур, «Газета польска цодзенне», 21-22 мая)

- «Во вторник также состоялась беседа премьер-министра с заместителем председателя Европейской комиссии Франсом Тиммермансом. (...) Результаты встречи (...) прокомментировал министр иностранных дел Витольд Ващиковский: “Трудно понять, когда именно Тиммерманс говорит правду”. (...) Министр также заметил, что “нам, к сожалению, пришлось столкнуться с враждебным отношением со стороны европейских чиновников, можно даже сказать, с мошенничеством. (...) Наши национальные интересы не должны попирацца чиновниками ЕС”». (Агата Кондзинская, «Газета wyborча», 21-22 мая)

- Из выступления премьер-министра Беаты Шидло в Сейме 20 мая. «Сегодня мы вновь наблюдаем, как политики “Гражданской платформы” (ГП), ПСЛ и “Современной” потирают от радости руки, видя, что некоторые европейские институты действуют против Польши. (...) Проблемы с репутацией и авторитетом нынче не у Польши, а у Европейской комиссии. (...) Мне кажется, сегодня в Европейской комиссии всё больше тех, кто жаждет раскола ЕС, а не его нормального развития. Очень печально, что Европейская комиссия не в состоянии сопротивляться политическому давлению, которое вы на нее оказываете. (...) Мы должны сделать все, чтобы Европа никогда не забывала, как много сделала Польша для ее свободы, для демократии на нашем континенте. (...) Я говорю об этом, чтобы все мы помнили: Польше нужна Европа, но в первую очередь Европе нужна Польша». («Наш дзенник», 23 мая)

- После выступления премьер-министра Беаты Шидло «лидер ГП Гжегож Схетына заявил: “Польше стыдно за ваши слова”. (...) “Это печальный день для польской демократии, — парировала премьер-министр Шидло. — Так как еще никогда в этих стенах оппозиция не демонстрировала такого презрения к польскому правительству”. (...) Лидер “Современной” Рышард Петру обратил внимание парламентариев на то, что в Польше “сложилась ситуация, когда президент Анджей Дуда нарушает закон, отказываясь привести к присяге судей Конституционного суда, а премьер-министр нарушает закон,

не публикуя решения КС. (...) Скандалы в Сейме не остались незамеченными в Европе”. “(...) Согласно договору о ЕС, Европейская комиссия обязана контролировать соблюдение законности в странах Евросоюза”, — заявил европейский комиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер». (Агата Кондзинская, «Газета wyborcza», 21–22 мая)

- «В пятницу Сейм одобрил также проект резолюции о защите суверенитета Республики Польша и прав ее граждан». (Клаудиа Дадур, «Газета польска цодзенне», 21–22 мая)

- Фрагменты вышеупомянутой резолюции: «(...) В последнее время совершаются действия, нарушающие суверенитет нашей страны, а также подрывающие основы демократии, правопорядок и общественное спокойствие в Польше. Предлогом для таких действий служит (...) политическая дискуссия вокруг Конституционного суда. (...) Структурами ЕС также предпринимаются попытки навязать Польше свои решения по вопросу иммигрантов. (...) Указанные решения (...) не основаны на европейском праве, нарушают суверенитет нашей страны, европейские ценности и принцип субсидиарности в ЕС. Они также угрожают общественному устройству Польши, безопасности ее граждан, нашему культурному наследию и национальной идентичности. Сейм Республики Польша призывает правительство решительно пресечь любые действия, направленные против суверенитета нашей страны (...)». За резолюцию, подготовленную Пис, проголосовало 257 депутатов фракций Пис и Кукиз'15. Депутаты от ГП, «Современной», и крестьянской партии ПСЛ не участвовали в голосовании, оставаясь при этом в зале заседаний. («Газета wyborcza», 21–22 мая)

- «В Польше законодательная и исполнительная ветви власти давно поменялись ролями — Монтескье такое бы и не приснилось! Уже во время премьерства Дональда Туска почти всё, что принимал Сейм, определялось в кабинете главы правительства. Парламент стал исполнителем поручений, машиной для голосования. Это результат консолидации партий вокруг своих лидеров и постепенного выдавливания из политики людей, способных на какую-либо самостоятельность. (...) Немилость партийного лидера на практике означает политическую смерть, в чем успели убедиться многие деятели последних лет. Это дает руководителям партий почти абсолютный контроль над своими людьми. Как сформулировал Роберт Красовский: раньше у партий были свои лидеры, теперь у каждого лидера есть своя партия. Зачастую эти люди единолично решают, что должен одобрить Сейм! Именно

поэтому нарушение независимости судей и Конституционного суда создает дополнительную опасность. Независимый суд — это последняя гарантия того, что политики, чья воля в течение нескольких часов способна обрести силу закона, могут столкнуться хоть с какими-то ограничениями», — Томаш Петшиковский, бывший воевода Силезии. («Газета wyborcza», 30 апр. — 1 мая)

- «Франс Тиммерманс прилетел в Варшаву на несколько часов. После часовой беседы с премьер-министром Беатой Шидло он также встретился с председателем Конституционного суда Анджеем Жеплинским и Уполномоченным по правам граждан Адамом Боднаром». (Бартош Т. Видлинский, Томаш Белецкий, Агата Кондзинская, Эва Седлецкая, «Газета wyborcza», 25-26 мая)

- «Самыми разными способами ПиС пытается ограничить деятельность Адама Боднара. Сначала бюджет Уполномоченного по правам граждан на 2016 г. был урезан на 10 млн злотых. (...) Теперь власть пытается связать его по рукам и ногам, угрожая лишением иммунитета. Если и это не принесет ожидаемого эффекта, запланирован очередной ход — закон о погашении мандата, аналогичный тем решениям, которые пытались применить в отношении судей Конституционного суда. (...) “Меня совершенно не интересует, что за шальные мысли бродят в головах наших власть предержащих. Я стараюсь оставаться как можно более законопослушным гражданином и делать свое дело”, — говорит Боднар». (Александра Павлицкая, «Ньюсуик Польша», 23-29 мая)

- «Европейская комиссия дала негативную оценку состоянию законности и демократии в Польше. Содержание резолюции комиссии носит конфиденциальный характер. (...) Франс Тиммерманс пришел к выводу, что правительство не представило реальных предложений по урегулированию кризиса вокруг Конституционного суда. (...) Комиссия констатировала, что без режима законности невозможны ни демократия, ни соблюдение фундаментальных прав человека. (...) “Менее всего нам хотелось бы, чтобы в Польше действовали две параллельные правовые системы. Это создало бы ситуацию нестабильности для граждан Польши и ЕС, а также для польских и — шире — европейских предпринимателей. Так что мы заинтересованы в максимальной ясности по данному вопросу”, — заявил Тиммерманс. (...) После обеда на эту тему высказался председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. “Все страны, входящие в ЕС, согласились с

единообразными принципами, которые должны уважаться всеми государствами Евросоюза, в том числе теми, где действуют мажоритарные правительства. Демократия — это не только парламентское большинство, но еще и гражданское общество”, — сказал Юнкер». (из Брюсселя Анна Словеская, «Жечпосполита», 2 июня)

• «Негативное заключение относительно состояния законности и демократии в Польше стало итогом первого этапа процедуры мониторинга. (...) Теперь у Польши есть две недели на официальный ответ. (...) Если его содержание окажется неудовлетворительным, в Варшаву будут направлены рекомендации о том, что и в какие сроки необходимо сделать. После этого начинается третий этап — оценка выполнения рекомендаций. Если Европейская комиссия посчитает, что они не были реализованы, (...) у нее есть право обратиться в Совет Европы с заявлением о запуске “одного из механизмов, предусмотренных ст. 7 Договора о функционировании Европейского союза”. (...) Статья 7 предусматривает три варианта решения. Первый — констатирует серьезный риск нарушения законности. Для принятия такого решения необходимо большинство в 4/5 от общего количества стран-членов ЕС, то есть голоса 22-х государств. Это процентное соотношение рассчитывается относительно 27-и, а не 28-и стран-членов, поскольку голос Польши в данном случае не учитывается. Второй вариант решения диагностирует серьезные нарушения законности; такое решение принимается единогласно. Третья же разновидность решения устанавливает санкции, и для его принятия необходимо квалифицированное большинство голосов, в данном случае голоса 20-ти стран ЕС». (из Брюсселя Анна Словеская, «Жечпосполита», 3 июня)

• «В апреле 2016 г. Европейский парламент занимался проблемами превышения власти в Гондурасе, Пакистане, Нигерии и Польше», — Януш Левандовский, бывший депутат и министр, с 2004 г. — депутат Европарламента, в 2010–14 гг. — комиссар ЕС по вопросам финансового программирования и бюджета. («Газета wyborcza», 4–5 июня)

• «Чего добивается Ярослав Качинский? Общий план “перемен к лучшему” ясен. Общественный строй в Польше фактически уже поменялся (без формальных изменений Конституции — В.К.), так что власть нужно удерживать долго. Избирательное право будет скорректировано, а пропорциональность выборов вообще отменена. Впереди дальнейшие кадровые перестановки ради полного контроля над всей страной. Цели очевидны, но они же таят и определенную угрозу для нашей демократии, а текущая

политика, несмотря на ряд опасностей, делает реализацию этих целей вполне возможной», — Анджей Веловейский, бывший депутат, сенатор и депутат Европарламента. («Газета wyborча», 12 мая)

• «Наверное, самым крупным успехом правительства стало то, что оппозиция вынуждена сосредоточиться на ситуации вокруг Конституционного суда. А огромной части поляков она совершенно не интересна. (...) Демократия — это еще не та ценность, за которую поляки готовы умирать. (...) Зато удалось раздражить Брюссель. И это лучший подарок, который могла сделать правящей партии оппозиция. Теперь ПиС может без тени сомнения указать на своих противников пальцем и сказать: вот они, те, кто выступает на стороне чужих. А чужой — это враг. (...) Сегодня мы становимся свидетелями уникального, как мне кажется, события: получив власть, ПиС продолжает удерживать на прежнем уровне неприязнь определенной части общества к “Гражданской платформе”. (...) Язык войны по-прежнему пользуется популярностью. Нам пока не удалось придумать достойного, привлекательного языка компромисса и согласия, благодаря которому арена политической борьбы могла бы стать площадкой единения», — проф. Ежи Бральчик. («Жечпосполита», 4-5 июня)

• «Я подозреваю, что ПиС сначала явно недооценивал тот резонанс, который вызвал в Европе конфликт вокруг Конституционного суда. Ярослав Качинский сам в какой-то момент заявил, что Венецианская комиссия была приглашена в Польшу слишком рано. (...) Власть продолжает тянуть время. (...) Сведение счетов с Дональдом Туском еще впереди. Конституционный суд не вернется к позиции, которую он занимал ранее. (...) Подождите до осени, (...) когда начнутся более радикальные и жесткие реформы, к примеру, изменения в судебной системе. (...) Это произойдет осенью, уже после визита Папы Римского Франциска и саммита НАТО. (...) Стратегической целью ПиС является смена всей общественной элиты Польши, и пока Ярослав Качинский возглавляет правящую партию, этот план будет реализовываться. (...) Осенью, когда начнет действовать программа «500+», по которой государство станет ежемесячно выплачивать родителям по 500 злотых на второго и каждого последующего ребенка, поляки наконец-то получают деньги. (...) Именно тогда ПиС придется начать завоевывать новых сторонников среди избирателей», — проф. Антоний Дудек. («Польска», 13-15 мая)

• «Качинский, безусловно, понимает, что ему не удастся изменить негативное отношение либеральных элит к его

“революции”, поэтому он хочет заменить эти элиты своими собственными. Достижению данной цели будет служить не только административная власть, но и политика по перекрыванию финансового кислорода старой элите, декоммунизация и борьба с иностранным влиянием в руководстве масс-медиа, банков и так далее. (...) По мнению Пис переданные польские элиты отказались от своих национальных корней, заражены космополитизмом, слишком увлечены Европой в ее либеральной, федеративной и атеистической версии. (...) Разгром государственной гражданской службы (...) свел на нет ранее действовавшие правила трудоустройства на различные уровни управления. (...) Через три года прокурорский корпус будет состоять лишь из протеже Збигнева Зебры. (...) С судьями справиться будет сложнее. (...) Молодые офицерские кадры поддерживают министра Мацеревича, поскольку он отстраняет старших офицеров и поощряет быстрое, несколько показное продвижение молодежи по службе. (...) Бывшие журналисты провинциальных СМИ без всякой переподготовки, не утруждая себя поэтапным карьерным ростом, становятся ведущими главных информационных программ общественных масс-медиа. (...) Новая медиа-элита воспитывается в высшей школе о. Рыдзика. (...) Министр Глинский перенаправляет финансовые потоки на разного рода инициативы правого толка и совершает кадровые перестановки в подведомственных ему учреждениях». (Мариуш Яницкий, Веслав Владыка, «Политика», 24-31 мая)

• «В нашем культурно-историческом пространстве (я имею в виду Западную и Центрально-Восточную Европу) подобных попыток отказа от демократии в пользу авторитаризма было немало, особенно в период между двумя мировыми войнами. Ярослав Качинский занят реализацией именно такого сценария. (...) Внушает оптимизм то, что в этой ситуации гражданское сопротивление не заставило себя долго ждать. (...) Первая стадия авторитаризма всегда характеризуется установлением полного контроля над государством, чьи структуры укомплектовываются абсолютно лояльными людьми, готовыми выполнить любое распоряжение. Вторая стадия — своего рода “разводка” оппозиции, которую дурачат как можно дольше. Обе эти стадии мы сейчас и наблюдаем. (...) Следующим этапом станет покушение на суверенитет судебной власти, после чего начнется очередное закручивание гаек в СМИ. И так шаг за шагом, вплоть до попыток фальсификации выборов при помощи нового, “карманного” избирательного права. За все это поляки однажды предъявят власти счет на парламентских выборах. (...) Причем с председателя правящей

партии взятки будут гладки, он слишком хитер. Он все время держится вне властных структур, и поэтому чист — во всяком случае, перед людским судом», — проф. Томаш Наленч. («Польска», 13-15 мая)

• «День правосудия (...) отмечается 23 мая, в годовщину убийства в 1992 г. в Италии судьи Джованни Фальконе, боровшегося с сицилийской мафией. (...) К судьям обратился проф. Адам Стшембош, первый после преобразований 1989 г. председатель Верховного суда, один из авторов книги “Варшавские судьи в час испытаний”, запечатлевшей образы польских судей времен военного положения: “Дорогие коллеги, мы должны отдавать себе отчет, что для нас наступают непростые времена. Но времена не выбирают, и можно оставаться судьей при любых, в том числе и самых сложных исторических обстоятельствах. Это убедительно доказали те судьи, которые даже в период военного положения смогли сопротивляться невероятно мощному давлению, чтобы сохранить собственное достоинство и — что для судьи важнее всего — независимость от любой власти, беспристрастность при отправлении правосудия”». (Эва Седлецкая, «Газета wyborcza», 24 мая)

• «Решение принято. (...) Министр юстиции Збигнев Зёбро считает, что дисциплинарные суды слишком мягко относятся к провинившимся судьям. (...) Для судей вводятся новые виды материальных взысканий (в размере от 5 до 15% заработной платы), кроме того, (...) заседатели по дисциплинарным делам должны следить, чтобы выносимые решения были более жесткими. Функции заседателей будут выполнять представители других юридических профессий: адвокаты, нотариусы, юрисконсульты». («Жечпосполита», 3 июня)

• «Создается новая ассоциация следственных работников “Lex Super Omnia” (“Закон превыше всего”). В понедельник состоялся ее первый съезд, на котором был принят устав и избрано руководство. Ассоциация планирует добиваться конституционного закрепления основных принципов деятельности прокуратуры, (...) а также защищать независимость прокуроров. “Если Збигнев Зёбро думает, что ему удалось усмирить прокуратуру, то он ошибается. В нашем лице у него появилась сильная оппозиция, которая будет бороться с политизацией прокуратуры”, — заявил один из членов ассоциации». («Дзенник газета правна», 25-26 мая)

• «Депутаты городского совета Гданьска в четверг присвоили одной из городских площадей имя Тадеуша Мазовецкого.

Против такого решения выступили депутаты от ПиС». («Газета wyborcza», 29 апр.)

- «Канцелярия премьер-министра (...) объявила нерабочим днем пятницу 27 мая, следующую за праздником Тела Господня. (...) Отработать этот день придется в субботу 4 июня, в годовщину первых относительно свободных выборов 1989 года. Ранее на 4 июня запланировал свою манифестацию Комитет защиты демократии. Его лидеры посчитали, что перенос выходного дня преследовал своей целью помешать госслужащим принять участие в антиправительственной демонстрации. Поэтому активисты решили начать манифестацию в 16 часов дня». (Яцек Низинкевич, «Жечпосполита», 19 мая)

- «Комитет защиты демократии пообещал провести новые демонстрации. (...) 4 июня этого года общественники, сплотившиеся вокруг “Гражданской платформы”, а в особенности вокруг бывшего президента Бронислава Коморовского, пытались сделать эту дату символом обретения Польшей независимости, (...) поскольку 4 июня 1989 г. состоялись полусвободные, так называемые “договорные” выборы. (...) Президент Анджей Дуда не собирается следовать по стопам своего предшественника и с размахом праздновать день 4 июня. Премьер-министр Беата Шидло решила, что 4 июня государственные служащие будут работать. (...) В патриотических кругах куда более важным событием, нежели выборы, состоявшиеся в результате переговоров за Круглым столом, считаются забастовки рабочих в 1980 году. Право-консервативная среда пытается выстроить связь с традициями Второй Речи Посполитой», — проф. Мечислав Рыба. («Наш дзенник», 4-5 июня)

- «4 июня 1989 г. состоялось решающее сражение, увенчавшее почти десятилетнее, начатое поляками в августе 1980 г., “восстание солидарности”. (...) 4 июня миллионы избирателей отдали свои голоса за “Солидарность”, в то время как правительственные кандидаты в Сейм и Сенат потерпели сокрушительное поражение. ПОРП (Польская объединенная рабочая партия) и так называемые “партии-союзники” смогли провести своих представителей в Сейм только благодаря второму туру выборов, состоявшемуся 18 июня. (...) Победа “Солидарности” стала триумфом огромного количества людей из разных слоев общества и с разными политическими и религиозными взглядами. Несмотря на эти различия, на выборах 1989 г. людям удалось проявить удивительную согласованность действий и добиться невозможного: Польша

получила независимость». (Инка Слодковская, «Жечпосполита», 4-5 июня)

• Годовщину 4 июня Комитет защиты демократии отметил в 33-х городах в Польше и 22-х — за границей. «Самое массовое празднование 27-ой годовщины частично свободных выборов состоялось в Варшаве. Марш “Все вместе за свободу” проследовал от Банковской площади к площади Конституции. По данным столичной мэрии, в демонстрации участвовало 50 тыс. человек, по данным полиции — 10 тыс., а проправительственные “Новости” на канале TVP сообщили о 17,5 тыс. участников. (...) Колонну возглавляли два бывших президента — Александр Квасневский и Бронислав Коморовский; не хватало только Леха Валенсы. (...) Марш начался с минуты молчания в память о студентах, расстрелянных 4 июня 1989 г. на площади Тяньаньмэнь в Пекине. (...) На площади Конституции выступили оба бывших президента. Коморовский обратился к митингующим “Дорогие мятежники”, намекая тем самым на субботнее высказывание Ярослава Качинского». (Михал Вильгоцкий, Михал Шатларский, «Газета wyborcza», 6 июня)

• «После того как поляки в очередной раз высказались за перемены и улучшения в нашем Отечестве, в стране снова зреет мятеж», — заявил Ярослав Качинский в своем выступлении на варшавском окружном съезде Пис. («Наш дзенник», 6 июня)

• «Демонстрации Комитета защиты демократии — это протест сорока- и пятидесятилетних. В партии «Вместе» преобладают тридцатилетние, зато основное ядро право-консервативных партий составляют лица двадцати с небольшим лет. И речь идет не столько о «Праве и справедливости», КОРВиН («Коалиция обновления Республики — воля и надежда») или Кукиз'15, сколько о Национально-радикальном лагере. (...) Идут массовые увольнения на телевидении, в крупных компаниях, на госслужбе, но это хорошая новость для двадцатилетних — одних увольняют, других будут принимать на работу. Я вижу в этом вполне рациональный расчет Качинского. Однако не вижу, к чему все это ведет, какую систему выстраивает. И я боюсь, что они сами этого не знают. Тут есть элемент мести, реакции, кадровой составляющей. (...) И, как это часто бывает в случае революции, неизвестно, к чему это приведет», — Мартин Меллер. («Польска», 3-5 июня)

• «Правительство повышает оклады полицейским и пожарным. Месячная зарплата сотрудников этих структур до 2019 г. вырастет в среднем на 562 злотых. Первые прибавки

запланированы на будущий год. Полицейские и пожарные службы ждет также модернизация. В частности, появятся новые комиссариаты полиции». («Жечпосполита», 2 июня)

- «В торжественном освящении храма, построенном редемптористом Тадеушем Рыдзыком, приняли участие министр национальной обороны Антоний Мацеревич, (...) министр внутренних дел Мариуш Блащак, министр юстиции Збигнев Зёбро, министр охраны окружающей среды Ян Шишко, министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель, министр инфраструктуры Анджей Адамчик, руководитель канцелярии премьер-министра Беата Кемпа и другие официальные лица. Также на церемонии присутствовали Куявско-Поморский воевода Миколай Богданович, мэр Торуни Михал Залеский и все вице-мэры. Простых депутатов и деятелей самоуправления и вовсе было не счесть. Кроме того, в освящении участвовали более пятисот духовных особ — священники, кардиналы и епископы». (Агнешка Сова, «Политика», 24-31 мая)

- «Музей Иоанна Павла II и примаса Вышинского в Храме Провидения Божия перестал быть церковным объектом. Теперь учреждение находится в совместном управлении Министерства культуры и национального наследия. Это, кроме прочего, означает, что часть расходов на содержание объекта будет покрываться из государственного бюджета». («Газета wyborcza», 9 мая)

- «В воскресенье город Острув-Мазовецка при участии министра культуры Петра Глинского организовал инсценировку бракосочетания и свадебного банкета ротмистра Витольда Пилецкого, казнённого в 1948 году. Правда, в 1931 году банкета не было. Дом-музей семьи Пилецких появится в городе, где ротмистр был всего три раза, а дата 8 мая является для его семьи травмирующей, поскольку именно в этот день Пилецкий был арестован. (...) Несмотря на протесты его семьи, 8 мая город решил “увековечить свадьбу Пилецкого”. (...) В роли молодоженов выступили актеры. В торжественном богослужении участвовали вице-премьер и министр культуры Петр Глинский и вице-министр Магдалена Гавин». (Яцек Свёндер, «Газета wyborcza», 13 мая)

- «Решение о ликвидации Польского института дипломатии было принято в конце марта, несмотря на то, что в феврале министр иностранных дел без замечаний принял годовой отчет о деятельности института. (...) О том, что над институтом сгущаются тучи, свидетельствовал вопрос, поступивший от чиновников МИДа: “Почему у вас тут всё на английском?”». (Павел Вронский, «Газета wyborcza», 21-22 мая)

- «Рышард Шнепф уволен с должности посла Польши в США. (...) Как сообщает “Радио Зет”, после вручения послу распоряжения о его увольнении, представители польского МИДа упрекнули Шнепфа в том, что он принимал в США председателя Конституционного суда Анджея Жеплинского». («Газета польска цодзенне», 2 июня)

- «32 из 39 членов Государственного совета охраны природы (ГСОП) во вторник получили письмо министра охраны окружающей среды Яна Шишко о прекращении их полномочий. Уволенные лица, в частности, выступали с критикой вырубки Беловежской пущи. (...) “Более половины членов нового совета, в который войдут 29 человек, составят лесники, представители вузов и других организаций, связанных с охраной лесов”, — говорится на официальном сайте ГСОП. Среди новых членов ГСОП немало тех, кто поддерживает политику министра Шишко — к примеру, проф. Ванда Мех из Высшей школы сельского хозяйства, выступающая за более интенсивный отстрел зубров». («Газета выборча», 12 мая)

- «Со своих должностей уволены также директора национальных парков: Беловежского, Бебжанского, Свентокшиского, Словинского и Волинского». (Адам Вайрак, Доминика Вантух, «Газета выборча», 18 мая)

- «Беата Шидло утвердила новый состав Научного совета лесничества, который возглавил проф. Януш Сова, специалист по вырубке деревьев и бензопилам. (...) “Чтобы сохранить Беловежскую пущу, ее нужно периодически вырубать. Уже наши деды и прадеды знали, что единственное средство для успешного ведения лесного хозяйства — это топор”, — считает председатель совета. (...) В коридорах компании “Государственные леса” сегодня можно увидеть целые толпы священников: национального пастыря лесников, почетных пастырей лесников, координирующего пастыря лесников, пастыря Главного управления “Государственных лесов”, а также пастыря Лесоохраны (в общей сложности, около 38 пастырей). (...) А министр охраны окружающей среды Ян Шишко известен своими тесными контактами с Тадеушем Рыдзыком и радио “Мария”». (Войцех Цесля, «Ньюсуик Польска», 23–29 мая)

- Открытое письмо против увеличения вырубки деревьев в Беловежской пуще подписали 25 профессоров и докторов наук, представляющих 22 научные организации девяти различных городов. По мнению подписавших письмо, «планы по увеличению добычи древесины в Беловежской пуще с целью борьбы с жуком-короедом являются грубым вмешательством в

естественные процессы, происходящие в пуще, и могут привести к ее превращению в хозяйственный лес, а также к утрате естественного характера ее наиболее ценных участков и, как следствие, потере статуса объекта мирового наследия». («Дзике жиче», май 2016)

- «Вроцлавский Фонд экономического развития в своем отчете “На страже деревьев” подсчитал, что в 2011–14 гг. в столицах воеводств было вырублено свыше 800 тыс. деревьев.

“Применительно к среднестатистическому лесу такое количество деревьев занимает ок. 2,6 тыс. гектаров. Это все равно, что вырубить половину строгого природного резервата Беловежского национального парка”, — говорит сотрудник фонда Александр Гургуль. («Газета выборча», 10 мая)

- «По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Польше из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают около 44 тыс. человек в год. (...) ВОЗ только что опубликовала новый рейтинг самых загрязненных городов мира. Из 50 самых загрязненных городов Евросоюза 33 находятся в Польше. (...) Список самых загрязненных европейских городов открывает Живец (...). Второе место занимает Пщина, в первой десятке также находятся Рыбник (4-е место), Водзислав-Силезский (5-е место), Опочно (6-е место), Суха-Бескидская (7-е место) и Годув (8-е место)». (Доминика Вантух, «Газета выборча», 16 мая)

- «В 2010 г. Польшу покинули два миллиона человек, год назад — 2,32 млн. (...) По сравнению с осенью прошлого года, на 225 тыс. человек увеличилось количество тех, кто открыто заявляет о своем желании уехать. (...) 34% хотели бы уехать в Германию, 18% планируют работать в Великобритании, 8% респондентов в качестве нового пристанища указывают Голландию. (...) Образ польского эмигранта изменился. В наши дни об отъезде говорят в основном молодые люди, не достигшие 34 лет, имеющие начальное или среднее образование, не работающие либо зарабатывающие менее 2 тыс. злотых в месяц, живущие в деревне либо в городе с населением менее 100 тыс. жителей. Ранее планы, связанные с отъездом, строили в основном люди, имеющие постоянную работу, высшее либо профессиональное образование». (Виктор Рачковский, 16–22 мая)

- «Молодые люди сравнивают зарплаты, предлагаемые в Польше, с теми, на которые они могут рассчитывать в Германии — и убеждаются, что у себя дома заработают в три раза меньше. (...) Они убеждены, что в Польше их просто кто-то обкрадывает, забирая себе две трети причитающегося им

вознаграждения. (...) В 1990 году, по причине более низкой производительности труда и более слабой валюты, средняя польская зарплата была примерно в 15 раз меньше западноевропейской (а до этого ситуация была еще хуже). В результате огромного экономического успеха последних 25 лет эта разница уменьшилась всего в три раза. (...) Польские зарплаты могут постоянно увеличиваться только с той скоростью, которую им позволяют рост производительности труда и устойчивость валюты. Чтобы достичь уровня зарплат наших более богатых соседей, нам нужно не менее двадцати лет — и лишь при условии высоких хозяйственных результатов. Однако большая часть молодежи не захочет ждать так долго и просто уедет, ослабив тем самым потенциал развития Польши», — Витольд Орловский. («Жечпосполита», 12 мая)

• «Если посчитать всех работников, занимающих различные должности на нестабильной и низкооплачиваемой работе, к тому же не гарантирующей отпуска или больничного, то окажется, что эти люди составляют половину всех занятых граждан. А ведь кроме них есть еще более 1,6 млн безработных, 80% которых даже не получают пособия. Польша — одна из стран ЕС с самыми низкими зарплатами, и государство не слишком старается переломить этот негативный тренд». (Петр Шумлевич, «Дзенник газета правна», 13–15 мая)

• «Сегодня маятник истории качнулся в сторону право-консервативной идеологии. (...) Я думаю, что это следствие (...) экзистенциального опыта молодых. Степень их неуверенности в завтрашнем дне очень высока. На свободном рынке труда доминируют корпорации либо — что еще хуже — мелкие предприятия, сотрудники которых могут рассчитывать лишь на статус рабочей силы. (...) В Польше нет вопиющей нищеты, зато есть проблема имущественного расслоения. Две трети работников получают зарплату ниже средней! С точки зрения доступности жилья молодежь находится в более скверной ситуации, чем во времена коммунизма. Все это им активно не нравится. (...) И поэтому молодые люди хотят перемен. (...) Тем временем оппозиция твердит: “Мы должны придерживаться того курса, которым следовали последние 25 лет, это был огромный успех”. Но молодежи на такие успехи плевать. (...) С одной стороны — успех, с другой — экономически мы находимся на задворках Европы», — проф. Рышард Бугай. («Газета wyborча», 28–29 мая)

• «У нас очень хороший запасной потенциал, в том числе отлично функционирующий частный сектор, который будет и дальше тянуть на себе экономику. Кроме того, мы располагаем

резервами, накопленными за предыдущие исторические периоды. Так что пару лет мы можем себе позволить заниматься политическим популизмом. Потом ситуация начнет ухудшаться, поскольку экономика потащит вниз государственный сектор, в первую очередь крупные государственные предприятия, которыми будут управлять кое-как и впутывать их в различные безумные проекты вроде восстановления щецинской судоверфи или объединения горнодобывающей и энергетической отраслей. (...) Если мы решим создавать крупные государственные компании, которые будут толкать экономику вперед, это может плохо кончиться. Судя по тем изменениям, которые происходят в области государственного предпринимательства, критерии профессионализма, опыта и проверенных навыков отошли на второй план. (...) Люди ценят тот факт, что частные фирмы работают более эффективно, но сами хотели бы трудиться в государственных компаниях. Почему? Чтобы легче было жульничать. Их не заботит процветание государства, экономики, общества. Они думают только о собственных интересах. (...) Мы — народ эдаких мелких предпринимателей-прохиндеев. Это своего рода ценность, которую нужно использовать, а не переживать из-за того, что мы такие, какие есть», — проф. Анджей Козминский. («Жечпосполита», 12 мая)

- «Наша страна заняла позорное первое место в Евросоюзе по количеству задержек во взаиморасчетах при ведении бизнеса. В Польше вовремя оплачивается менее половины счетов-фактур». («Жечпосполита», 10 мая)

- «Агентство “Moody’s” не снизило рейтинг Польши, (...) однако изменило оценку ее перспектив со стабильной на негативную, мотивируя это, в частности, увеличением государственных расходов и “ухудшением инвестиционного климата в связи с непредсказуемостью в области политики и законотворческой деятельности”. (...) Более пристальное внимание агентство обратило на сугубо экономические критерии, предупредив правительство, что на ухудшение рейтинга могут повлиять, в том числе, снижение пенсионного возраста и конвертация кредитов, взятых в швейцарских франках. И то, и другое в ходе парламентских выборов обещала полякам партия “Право и справедливость”». (Витольд Гловацкий, «Польска», 16 мая)

- «В течение ближайших двух лет Польша должна принять 7 тыс. человек. Собранные вместе, эти люди могли бы занять, к примеру, территорию небольшой варшавской площади. Как они могут исламизировать страну с населением в 38 млн человек? Еще совсем недавно в Грецию на выходные приезжали

7 тыс. туристов. Вы просили нас о солидарности, когда чувствовали угрозу в связи с агрессивной политикой России. Мы выполнили вашу просьбу. Однако западному обывателю не дают спокойно спать вовсе не русские танки, а миграционный кризис. И теперь мы просим вас о солидарности с нами», — Алессандро де Педис, посол Италии в Варшаве. («Газета wyborcza», 18 мая)

- «Понимают ли люди, разглагольствующие о необходимости “защитить цивилизацию”, что в раннехристианскую эпоху первыми понтификами были сирийцы? Папы Аникет, Иоанн V, Сергей I, Сизинний, Константин, Григорий III. Боясь мигрантов, мы на самом деле боимся себя. (...) Вот и вся цена нашей набожности. Мы любим разговоры о милосердии, (...) но если мы в одной руке держим четки, а другую при виде чужака сжимаем в кулак, “искра милосердия” (...) сразу же гаснет», — о. Мацей Бискуп, приор доминиканского монастыря в Щецине. («Тыгодник повшехный», 5 июня)

- «Критическую ситуацию с беженцами нельзя увязывать с террористической угрозой. Это просто нечестно, а кроме того, порождает в людях уверенность, что “во всем виноваты мигранты”, хотя теракты в Европе начались задолго до миграционного кризиса, да и участвуют в них чаще всего граждане и жители Европы, а не мигранты», — Кшиштоф Лидл, специалист по проблемам международного терроризма, преподаватель университета “Collegium Civitas” в Варшаве. («Жечпосполита», 30 мая)

- «Всемирные дни молодежи в Кракове (26–31 июля с.г.) попали в список трех мероприятий, оказавшихся под угрозой теракта, говорится в недавнем заявлении Госдепартамента США. Польское правительство было крайне удивлено этой новостью. Американцы, тем не менее, решили предупредить своих граждан». («Жечпосполита», 2 июня)

- «Два раскрытых на днях покушения на теракт демонстрируют основные разновидности нынешних террористических угроз. Студент, подложивший бомбу во вроцлавский автобус, (...) действовал самостоятельно, (...) был увлечен антиисламской риторикой Корвина-Микке, руководство по изготовлению бомбы нашел в интернете. (...) Группа анархистов, пытавшаяся взорвать несколько полицейских автомобилей в варшавском районе Влохи, находилась под наблюдением Отдела по борьбе с уголовным террором. (...) Идеология группы сочетала в себе неприязнь к “нынешней власти” с желанием отомстить полицейским за их жестокое обращение с друзьями

несостоявшихся террористов». (Войцех Чухновский, «Газета wyborча», 28–29 мая)

- «По данным Главной комендатуры полиции, количество преступлений, жертвами которых выступают цыгане и евреи, снижается. Сегодня злоумышленники нападают в основном на арабов и других мусульман». («Дзенник газета правна», 18 мая)

- «Деятельность Национально-радикального лагеря (НРЛ) вызывает особое беспокойство не только белорусской диаспоры, но и других живущих на территории Подлясья национальных меньшинств — литовцев, цыган, татар, евреев. О своих опасениях представители этих меньшинств рассказали на встрече с воеводой Подлясья Богданом Пашковским, состоявшейся 20 апреля в Управлении воеводства в Белостоке. (...) В связи с 82-й годовщиной создания НРЛ, около 400 человек прошли по улицам Белостока, выкрикивая, в частности, “Опомнись, Польша — Польша для поляков!”». (Эугениуш Чиквиж, «Пшеглёнд православный», июнь)

- «Почему молчит наше правительство, наш президент? НРЛ, призывая вешать евреев, подстрекает к геноциду. И власть должна реагировать на это, как на геноцид. (...) Группа молодых поляков прошла по улицам с призывами к убийству. А ведь нынешнее правительство в качестве приоритетной задачи всячески пытается показать всему миру поляков, которые укрывали евреев, а не принимали участие в их геноциде. Почему же тогда сопротивление оказывается таким слабым? (...) Я христианка. Я полька. Я ничем не связана с еврейским народом. Однако, чтобы выразить свой протест в связи с маршем НРЛ, хочу четко заявить: “Я еврейка”», — Иоанна Щепковская. («Жечпосполита», 7–8 мая)

- «На второй день православной Пасхи, 2 мая, горлицкий епископ Паисий и более сотни верующих торжественной процессией проследовали через лес и болото на кладбище уже несуществующей деревни Завадка-Мороховская. Когда-то эта деревня (...) насчитывала 46 домов, половина из которых была сожжена гитлеровцами в 1944 году, а между 25 января и 13 апреля (1946 года — В.К.) солдаты Польской народной армии в три этапа совершили ряд жестоких убийств в отношении проживавших там украинцев. Были убиты свыше семидесяти человек, в том числе дети, женщины и старики. На месте бывшей деревни позднее появилось кладбище», — о. Юлиан Феленчак. («Пшеглёнд православный», июнь)

- «22 мая президент Анджей Дуда вручил Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши стороннику Путина, украинофобу

и антисемиту, активисту радикальных националистических группировок польской эмиграции в Норвегии Богдану Кулясу». («Газета wyborcza», 1 июня)

• «По данным ЦИОМа, президенту доверяют 57% поляков. На втором месте в рейтинге доверия — премьер-министр Беата Шидло (48%). Павел Кукиз пользуется доверием 47% респондентов. (...) Далее по списку идут лидер «Современной» Рышард Петру (39%), председатель крестьянской партии ПСЛ Владислав Косиняк-Камыш (33%), Ярослав Качинский (32%), а также председатель Союза демократических левых сил Влодзимеж Чажастый и лидер Комитета защиты демократии Матеуш Киёвский, набравшие по 18%». («Газета польска цодзенне», 23 мая)

• Поддержка партий: «Право и справедливость» — 39%, «Гражданская платформа» — 17%, «Современная» — 11%, Кукиз'15 — 7%. Уровень поддержки прочих партий не позволяет им преодолеть избирательный порог. Опрос агентства «TNS Polska» от 13–18 мая». («Газета польска цодзенне», 30 марта)

• «55% поляков, участвовавших в опросе агентства «TNS Polska», негативно оценивают работу правительства (противоположного мнения придерживаются 34%). 47% респондентов считают, что Анджей Дуда плохо справляется с обязанностями главы государства (позитивно настроены по отношению к президенту 43%). Работой премьер-министра Беаты Шидло недовольны 49% опрошенных (довольны 40%). Опрос проводился 13–18 мая». («Тыгодник повшехный», 5 июня)

• «Президент Путин в субботу пообещал взять “под ракетный прицел” Польшу и Румынию. Это реакция на то, что первая из двух европейских баз антиракетного щита в румынском Девеселу уже находится в стадии оперативной готовности, а в польском Редзиково начала строиться вторая». (Витольд Гловацкий, «Польска», 30 мая)

• «В крупнейших за последние 27 лет военных учениях на территории нашей страны принимает участие 31 тыс. военнослужащих НАТО. (...) Сценарий 10-дневных маневров предусматривает согласованный вооруженный ответ на дестабилизацию региона Балтийского моря и эскалацию гибридной агрессии, а также на вторжение в страны Балтии и на часть территории Польши». «В Литве, которую спикер российского Совета Федерации обвинила в дискриминации прав россиян, сейчас проходят учения НАТО. А по другую

сторону границы, в России, идут маневры с участием 30 тыс. военных», — Анджей Ломановский. («Жечпосполита», 7 июня)

• «“В польской армии должны неукоснительно соблюдаться десять основных христианских заповедей”, — заявил вице-министр национальной обороны Войцех Фалковский, не уточнив, однако, должны ли военные соблюдать заповедь “не убий”». (Дариуш Цвикляк, «Ньюсуик Польска», 25 апр. – 1 мая)

• «Анджей Дуда (...) участвует в диалоге. Ни один из его предшественников не выходил в сеть с такой интенсивностью, а интернет-пользователям приятно, что президенту эта форма общения приходится по душе. Эксперты по вопросам общественных масс-медиа единодушны в том, что своим успехом на выборах Дуда — по крайней мере, отчасти — обязан своим навыкам обращения с интернетом. Уже став президентом, он не прекратил сетевую активность и по-прежнему публикует видеоматериалы, отчеты и фотографии, подбирая себе специальный имидж для каждой конкретной группы пользователей. (...) Анджей Дуда находится на связи круглые сутки, он-лайн и офф-лайн, и доступен для всех, кто хотел бы с ним связаться. Это самая настоящая мировая сенсация — как правило, главы государств прибегают к услугам виртуальных менеджеров. Но Дуда обновляет свой личный профиль в интернете самостоятельно. (...) Пока Сейм по ночам заседает, президент ведет дискуссии в интернете». (Александра Желазинская, «Политика», 1-7 июня)

Сила духа и прощение

День 24 июня 2016 года будет одним из важнейших в истории польско-украинских отношений. В Люблине Надежде Савченко вручили статуэтку «Орел» — премию им. Яна Карского. Напомним, что Карский был во время войны эмиссаром Польского подпольного государства, подготовил и перевез на Запад отчеты об уничтожении евреев в Польше.

Надежда Савченко получила премию «за силу духа в борьбе за человеческое достоинство и честь». Во время церемонии в Люблине она сказала:

— Я готова просить прощения и простить. Я приношу польскому народу извинения за зло, причиненное украинцами в давней и недавней истории. Если можете, простите.

Ни одна из прозвучавших до сих пор деклараций по этому вопросу не была столь убедительной, хотя неизвестно, как скоро дойдет она до общественного мнения, занятого другими, якобы более важными вопросами. А ведь именно этот вопрос для Польши и Украины — самый важный.

Увы, двумя днями позже в Пшемысле произошли позорные беспорядки. Молодые польские националисты попытались не пропустить украинскую процессию, направлявшуюся к могилам солдат Петлюры. Выкрикивали оскорбительные лозунги, дело дошло до потасовки.

Когда в 1921 году Юзеф Пилсудский приехал в лагерь, в котором, согласно Рижскому договору, содержались интернированные петлюровцы, наши недавние союзники, он сказал: «Господа, я прошу у вас прощения. Я очень прошу вас простить меня».

Выступившие в Пшемысле националисты — как бы ни силились они заглушить голоса, взывающие к единению и сотрудничеству, — не наши представители.

Пани Надя, мы просим прощения.

Петр Мицнер,
редактор «Новой Польши»

О Бжозовском

*Непонятен был прежде всего сам человек,
который трактует проблемы интеллекта так,
словно это вопрос жизни и смерти.*

Чеслав Милош

Ренессанс Бжозовского? Об этом пока говорить еще рано. Какой ренессанс, если книги Бжозовского — раритеты? Придется ли ждать выхода обещанного полного собрания его сочинений в Польше так же долго, как мы ждали собрания сочинений Норвида?

Помимо книги Анджея Ставара «О Бжозовском»^[1], у нас теперь есть «Человек среди скорпионов» Чеслава Милоша^[2]. Ставар осмыслил Бжозовского с точки зрения доктрины марксизма. В результате некоторые направления его мысли получили априори негативную оценку. Восхищение Бжозовского Прудоном *наряду* с почитанием Маркса, непосредственное и продолжительное влияние Сореля — все это для Ставара «голоса» индивидуалиста, «слабо разбирающегося в условиях общественного действия»; вся же религиозная сторона мысли Бжозовского — не более чем выражение болезненной депрессии «патологического» романтика, естественное для смертельно больного писателя искушение. «Его мыслительная эпопея полна смелых прорывов... неужто ей суждено закончиться на пороге ризницы?» — пишет Ставар..

«Человек среди скорпионов» представляется мне первой попыткой осмыслить без предубеждений всего Бжозовского. Милош, видя в нем предтечу экзистенциальной философии, глубже проникает во внутреннюю логику развития мысли этого приверженца Маркса и кардинала Ньюмена, мысли сложной, разнонаправленной, нередко самой себе противоречащей. Трудно, пожалуй, найти более подходящего автора для создания такой книги: Милоша и Бжозовского многое роднит — интерес к одним и тем же общественным вопросам, одно и то же увлечение интеллектуальными проблемами и сознание их безусловной значимости, одна и та же щепетильность и восприимчивость к моральному аспекту вопросов, схожие колебания и терзания, которые автор не

вуалирует и не скрывает, но, напротив, пытается доискаться их смысла.

Милоша также пытались затравить и справа, и слева, но, к счастью для него и для нас, он выиграл. Бжозовский мог бы (будь он жив) сказать ему:

Ты пойдешь верхом, ты пойдешь верхом
А я долиной.

Контраст между сходством некоторых интеллектуальных сюжетов Бжозовского и Милоша и расхождением их жизненных путей поразительный.

«Человек среди скорпионов» вышел в мае, я ищу в «Культуре» и других изданиях рецензии на эту книгу, представляющуюся мне столь важной. Ничего — только любезно похлопывающий Милоша по плечу Гомбрович, который, впрочем, замечает, что Бжозовского не читал, что, однако, не мешает ему высказаться за Сенкевича и против Бжозовского^[3], а также очередной вклад покойного Побуг-Малиновского в «дело» Бжозовского, не вносящий и не могущий внести в него никакой ясности.

Я сам принадлежал к числу приверженцев Бжозовского, о которых Милош пишет, что они являлись приверженцами «эмоциональными», попросту не способными объять философскую мысль писателя, я принадлежу к поколению, не исполнившему в отношении него свой элементарный долг — сегодня это сделал за нас Милош. Вдохновленный книгой «Человек среди скорпионов», я хотел бы попытаться через собственные воспоминания проникнуть в суть влияния Бжозовского на молодежь начала XX века и, сопоставив ряд текстов и фактов, подтвердить то, что Милош пишет об отношении Бжозовского к католицизму.

«... словно это вопрос жизни и смерти»

Говоря в начале своей книги о первых читателях Бжозовского, Милош утверждает, что они «или не понимали его вовсе, или понимали одну фразу из трех», что «кампании Бжозовского... снискали ему энтузиазм среди молодежи, однако это были, как правило, только эмоциональные приверженцы». Оценка представляется мне справедливой. Но в чем же заключалась эта

сила его воздействия на «эмоциональных приверженцев», магия, которой я сам поддался до такой степени, что встречу с Бжозовским до сих пор считаю одним из важнейших событий в моей жизни? Будь я редким исключением, это можно было бы считать фактом лишь моей биографии, однако моя реакция на его труды, запоздавшая как минимум на десять лет и потому нетипичная, была в той же, если не большей степени, характерна для современной Бжозовскому прогрессивной молодежи. Не знаю, имелись ли у Жеромского, Выспанского и даже Пшибышевского столь же фанатичные друзья и сторонники.

«Легенда Молодой Польши» выходит дважды, в 1910 и в 1911 годах^[4], во Львове, в издательстве Полонецкого. Около четырех тысяч экземпляров этого пятисотстраничного философского труда, написанного языком трудным, порой невнятным и даже отталкивающе патетическим, распродается в Кракове в считанные дни!

Подозрения Бжозовского в предательстве и доносителстве, «дело» Бжозовского — это борьба обвинителей (вовсе не только скорпионов) с истово верящими Бжозовскому его приверженцами.

Тонкий читатель, даже понимая у Бжозовского «одну фразу из трех», ощущал *тон* писателя, характерный *démarche* его мысли, воплощение в слове личного опыта всего существа, а не только лишь отвлеченные, «профессорские» построения («не являющееся биографией — не существует вовсе»), связь с моральной ответственностью, словно бы стирание границ между процессом высказывания философа и художника.

Милош пишет: «Непонятен был, прежде всего, сам человек, который трактует проблемы интеллекта так, словно это вопрос жизни и смерти». Тут Милош ошибается. Как раз *эта* позиция снискала ему приверженцев. Всем, кому интеллектуальный горизонт Сенкевича казался не только тесным, но и фальшивым — Бжозовский пробивал окно в мир. Кроме того, он вырывал читателя из тисков светских *ни к чему не обязывающих* диспутов, из мира «подфилиппины»^[5]. «Тон» этих трудов заставлял читателя изменить свою позицию по отношению к жизни, всё представало проблемой совести, обязывало по отношению к конкретной, *данной* действительности. Польше «инфантильной», «беспечной», «легкомысленной» и «праздной», с «призраком Рейтана, стерегущим порог каждой кладовой», польскому «Обераммергау» празднеств и напыщенных фраз Бжозовский

противопоставлял иную картину и польской истории, и польского романтизма, противопоставлял Мохнацкого и Норвида, другое место Польши в современной Европе. Польша была для него единственным посредником, с помощью которого читатель мог не только занять свое место в мире — в широком, самом широком смысле, но и участвовать в судьбах этого мира. Уклоняться от этой задачи не имел права никто.

«Жизнь наша, я наше — это пост часового; когда мы с него уйдем — его потеряет всё человечество навсегда». Как же звучали тогда эти слова!

В этой борьбе за новое отношение к миру Бжозовский не был одинок, он принадлежал к «Молодой Польше». Еще в «Идеях» он говорит о том решающем влиянии, какое оказали на него Пшибышевский, Жеромский, Выспянский, Каспрович, даже открыватель Норвида, Мириам, на которого Бжозовский так нападал, Ижиковский, его современники, которых он то превозносил, то стирал в пыль своей критикой; они создали атмосферу, в которой труды Бжозовского могли воспламенять. Это было пробуждение мысли и искусства, по отношению к которому интеллектуальное и художественное наследие независимой Польши могло показаться плоским и вновь провинциальным.

Анахроничные воспоминания

Пытаясь разобраться в сущности «магического воздействия» Бжозовского на молодежь начала века, хочу вернуться к собственным воспоминаниям, как я уже писал, нехарактерным в силу сдвига во времени на десять с лишним лет, однако столь близким реакции молодежи на труды Бжозовского в 1905–1914 годах.

Я открыл для себя Бжозовского лишь в 1919 году, в Кракове, после инкубации в России. Еще в Петербурге, на школьной скамье, русская литература, российская действительность стали моим первым интеллектуальным опытом, наложившим на меня отпечаток. В Бжозовском я с первой же минуты увидел подобный накал мысли. В своих трудах он неоднократно говорит, скольким обязан России; утверждает, что русская общественная мысль была глубже польской, и даже видение Запада более полным и современным, чем в Польше (Мицкевич писал то же самое о России николаевской эпохи в своих письмах к Одыньцу).

Если я где-либо и когда-либо ощущал отношение к проблемам интеллекта как к вопросу жизни и смерти, то именно в России. Для либеральных русских это всегда были проблемы универсальные, связанные с Западом; по отношению к ним патриотизм Сенкевича казался провинциальным и лубочным. И в России, возможно, случались Подфилипские, хотя их, вероятно, заменяли глухие ко всему реакционеры («Il n'y a que la mitraille pour la canaille»^[6] — говорил бывший министр, старый граф Пален, глядя в окно на большую демонстрацию в 1905 году). Но масштаб Российской империи, бесчисленные революционные движения, покушения, вся литература, начиная с проклятого Синодом Толстого с его поразительной нравственной позицией и смертью, с Достоевского, каторжника, реакционера и пророка, целой плеяды других крупных писателей, видимо, глушили этот тип поверхностного — светского и ни к чему не обязывающего — «мышления». Там также существовали «белая деревня в атласе яблоневого цвета», но «вырванные из земли дубы», «грязные волны» захлестывающие «через кладбищенскую стену», «тяжелыми гробами», о которых писал Норвид, ощущались обществом более непосредственно и, возможно, более жестко, чем в Польше — сорок с лишним лет спустя после восстания, после эпохи органического труда, оправдывавшего разного рода компромиссы.

Впервые в Краков я приехал в 1919 году, через восемь лет после смерти Бжозовского, когда его «дело» уже было далеким, довоенным прошлым. От Кракова Бжозовского меня отделяла война — вокруг был Краков Независимой Польши. Я приехал из России, где пережил две революции; первую, февральскую — в Петербурге. Белые ночи того лета, в городе, охваченном ошеломительными надеждами и потрясениями, где не было молока и сахара, зато на площадях до утра толпились люди всех сословий, часами, группами, спокойно и страстно-сосредоточенно дискутировавшие о существовании и несуществовании Бога, о праведности и неправедности любой собственности, о братстве, об уничтожении всех границ, о новой справедливости. В том же Петербурге-Петрограде состоялся первый Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов, а председатель этого совета социалист Церетели, только что выпущенный из царской тюрьмы, обратился к солдатам всех фронтов, призывая их сложить оружие, и брататься поверх горы трупов этой ужасной войны. С обрывком газеты, где было напечатано это воззвание, я не расставался долгие месяцы. Сегодня трудно понять, как тогда звучали эти обращенные ко всему миру слова братства. Новая надежда тысячелетия? Так случилось, что перед самой Октябрьской

революцией я также присутствовал при двухчасовой взволнованной речи самого Церетели о распаде любой власти под натиском большевистской партии. Уже тогда судьба демократической России, казалось, была предрешена.

Позже, после победы Октябрьской революции, я еще дважды возвращался за фальшивыми документами в Петроград. Но это уже были две зимы террора, расстрелов, переполненных тюрем, голода.

Краков! Я еще никого там не знал, мое невежество в области польских дел мне самому сегодня кажется почти невероятным. В моих воспоминаниях о тогдашнем пребывании в Кракове нет ни Вавеля, ни холма Костюшко, ни Мариацкого костела, но я отлично помню темную приемную какого-то дантиста, где на столе, под некрасивой лампой в стиле сецессион, среди захватанных, сотни раз пролистанных иллюстрированных журналов открыл для себя «Легенду молодой Польши». Я начал читать с середины первой главы: «Наше я и история». Перечитываю эту главу сегодня. Что же было в ней тогда такого потрясающего, что я просто физически чувствовал, как открываю нечто для себя самое главное?

Я вдруг понял всем своим существом, уже с первых страниц этой книги, что я не один, что я связан с целым миром, с историей, что одиночества не существует, что мои самые сокровенные мысли и переживания не являются лишь моей собственностью, что они имеют соответствия в мире, поскольку являются плодом не одних только моих размышлений, но всего исторического процесса, который мое сознание сформировал (бытие определяет сознание?), что я принадлежу истории, хочу я этого или нет, что я не только необходим, но никто за меня того, что я должен сделать, не сделает, и сделать не может.

Дальше, уже углубившись в эту книгу, я с упоением открывал то, чего Россия никогда не могла мне дать: что мой путь к идее человечества, очаровавший меня на Востоке, ведет через Польшу, что ее развитие я не только не должен, но не имею права игнорировать. Этот безжалостный памфлет на инфантильную Польшу, единственную, какую я до сих пор знал, открывал мне глаза на иную Польшу. Мой комплекс неполноценности по отношению к великой отчизне Толстого, Достоевского и революции исчез. Толстой был первым Учителем моей юности, но Достоевский, Ницше, Розанов, узнанные мною в мой последний приезд в Россию, благодаря Мережковскому и его жене, поэтессе Зинаиде Гиппиус, с которыми я провел несколько вечеров в их ледяной, не

отапливаемой квартире на Сергеевской в Петербурге, освободили меня от Толстого, подготовив к Бжозовскому, к его видению истории.

В «Легенде» в одной из сносок Бжозовский пишет о Жорже Сореле:

«...каждому, кто освоит стиль Сореля, перенасыщенный живой мыслью, словно захваченный врасплох, — неизбежно покажется бесцветным любой другой стиль письма. Сорель не строит архитектурные литературные конструкции, но строит саму мысль, в голове читателя он словно бы создает новые клетки и мозговые связи, пробуждает мыслительные процессы, “образует призвания”, как он сам выражается».

Я бы не сумел лучше описать воздействие на меня текстов самого Бжозовского.

С тех пор Бжозовский всегда был со мной. Я уже жил в Польше и Польшей. Снова была война. В бронепоезде братьев Малаговских, потом в Креховецком полку я открывал для себя польскую молодежь — открытую, исполненную энтузиазма, оптимистически настроенную (все любили Сенкевича, для скольких молодых людей бои 1920 года были продолжением «Трилогии»), не помню, чтобы я встретил адептов Бжозовского. В бронепоезде пилсудчика Малаговского, где офицерами и рядовыми были, в основном, студенты, я столкнулся с приверженцами Жеромского и, естественно, Пилсудского. В зале ожидания на станции Новы Сонч, где ремонтировался наш поезд, а затем на фронте я читал вечерами Бжозовского, и он учил меня Польше. Его глазами я и глядел на эту молодежь. Даже Мицкевич, не говоря уже о Норвиде, пришел ко мне через Бжозовского. А Запад, и те фамилии, которые я большей частью слышал впервые, от Вико, Карлейла, Гёте, Бергсона и Сореля до Мередита, Браунинга, Блейка, Вильфредо Парето и Ньюмена, — все это были звезды на новом для меня небосклоне, которые я почитал, поскольку их упоминал Бжозовский. Лишь среди офицеров легионов я встретил нескольких ценителей Бжозовского и, благодаря Бжозовскому, нашел с ними общий язык.

*

Но осенью 1920 года, поступив в краковскую Академию художеств, я оказываюсь в совершенно новом мире, с другой атмосферой и другими реакциями. Словно тот язык, то видение мира были стерты новой, послевоенной реальностью. Коллеги, с которыми я позже связал свою судьбу, будущие каписты^[7] — это уже люди, тронутые формизмом («Мускатный орех»^[8]), Маяковским (Бруно Ясенский), футуризмом, кубизмом.

Я вхожу в этот мир моих новых друзей, в совершенно иную интеллектуальную атмосферу беззаботной уверенности в себе, победного оптимизма и чувственной радости жизни.

Эта молодежь изо всех сил старается забыть, что по этой же Академии еще совсем недавно ходили длинноволосые художники в длинных пелеринах. Для моих товарищей я представляю собой явление довольно-таки анахроническое. У меня другие, чем у них, мыслительные и эмоциональные реакции. И это радостное приятие жизни выходит у меня немного вымученным — это не мой мир. Я ощущаю себя все более комичным эпигоном Молодой Польши, к которой никогда не принадлежал. Я и сегодня помню одну сценку из того периода.

Весной 1921 года (или уже 1922?) мои товарищи то и дело удирали из мастерской, часами плескались в Висле и загорали на пляже. Лежа обнаженным на песке, один из самых талантливых («Меньше всего работает и все время двигается вперед» — укоризненно-уважительно вздыхал профессор) говорит мне, убежденный, что высказывает глубокую и современную философскую мысль: «Не знаю, что важнее — загорать или рисовать».

Я молчу, потому что в этой атмосфере безмятежного наслаждения вдруг почти физически ощущаю затхлую подвальную атмосферу несвободы, обиды, трагедии, о которой эти мальчики ничего не знают и знать не хотят. Выспанский, здесь в Кракове умирающий от сифилиса, туберкулез и нищета Жеромского, окруженного осуждением правоверных, туберкулез, нищета и позорный процесс над Бжозовским, его смерть во Флоренции. Ощущаю ли я по отношению к ним свою вину, предательство? Из-за того, что молчу о них? Но кому я должен о них рассказывать? Товарищам по Академии? Молодая Польша, которую я только что для себя открыл, для них — тень навсегда ушедшего прошлого, но прежде всего — литература, которую невозможно читать. «Как ты можешь читать Жеромского, если есть Бальзак и Шекспир?» — говорит мне

один из них. Когда я читаю другому «Освобождение», он кривится, словно я заставляю его проглотить уксус. — «Все это, похоже, в горячечном бреде писано». — Бжозовского они не знают и знать не хотят. Очередной призрак из прошлого. Долой призраков!

С годами, увлеченный собственной жизнью, своей работой, группой художников, с которыми я делю судьбу, Парижем, в который я отправляюсь в 1924 году, я перестаю следить за участью трудов Бжозовского. Если и встречаю в польской прессе, которую время от времени читаю, статьи о нем, то непременно снова о «деле». Был он предателем или не был? — оклеветанный идейными противниками, которых не щадил, заподозренный в том, что служил осведомителем Охранки. Большая часть польского общественного мнения верит скорее «обращенному» агенту Охранки, который сам признается, что пытал узников, нежели свидетельствам самого Бжозовского и его друзей. Еще в 1918 году Жеромский, призывая к созданию Литературной академии^[9], требовал, прежде всего, разобраться в этом тяготеющем над Бжозовским обвинении: или он будет оправдан, или вина его будет доказана, и творчество в этом случае *вычеркнуто из скрижалей польской культуры*. Столь радикальная позиция вовсе не была тогда в Польше редкостью. Примерно в 1925 году во Франции я встретил выдающегося эсера И. Фондаминского. За одно из покушений он еще царским правительством был приговорен к смерти; приговор заменили пожизненной ссылкой в Сибирь. Он бежал оттуда и осел в Париже в 1905 году; вернулся в Россию в 1917, затем снова оказался в Париже, уже как эмигрант. В кругах левой антибольшевистской эмиграции он был чуть ли не святым, всеми почитаемым, не имевшим врагов (Фондаминский умер в немецком лагере во время последней войны). Так вот, он заинтересовался наследием Бжозовского. Я попытался изложить Фондаминскому его философию, богатство его идей, которое не могли вместить рамки ни одной из тогдашних партий, рассказал о его отношении к вопросу религии и о его смерти. Фондаминский слушал с огромным интересом. Для него, русского представителя поколения Бжозовского, это была близкая по духу фигура, он находил в польском писателе те болевые точки, которые сам ощущал с подобной же силой. Я начал рассказывать о «деле» и моментально ощутил его нетерпение и почти раздражение, наконец Фондаминский взорвался: «Зачем вы мне все это рассказываете, какое мне до этого дело, *даже если это так*, даже если он в какой-то момент уступил омерзительному шантажу, какое это может иметь значение!»

Я привожу примеры обеих реакций на «дело» Бжозовского, характерные, если говорить об оценке приоритетов: нравственность писателя или плоды его мысли.

Сам я искал, как умел, объективного подтверждения своим убеждениям, своей уверенности, что все это «дело» сфабриковано врагами Бжозовского, «скорпионами», что это клевета. Я познакомился тогда в Париже с Рафалом Бубером, через его сына, который там учился. Этот благородный, верный друг и защитник писателя множеством конкретных фактов подтвердил мои предположения. После прочтения главы книги Милоша, где он классифицирует все доступные ему материалы вместе с заявлением Бжозовского 1908 года, «криком тонущего», после смерти свидетелей, защитников и обвинителей любое возвращение к «делу» представляется мне лишь умножением мешанины все более отдаленных во времени и от этого все менее точных сведений и домыслов. Не пора ли «дело» закрыть и заняться, наконец, исключительно идеями Бжозовского, так, как занялись ими Ставар и Милош?

«Дневник» Бжозовского

Не помню, чтобы в те годы я более глубоко перечитывал труды Бжозовского, за исключением «Дневника» — этих изданных посмертно, лихорадочных записей последних нескольких месяцев его жизни. Эта книжечка — единственный известный мне польский *journal intime*. Сколько таких существует во Франции, от Мен де Бирана до Симоны Вайль. А как еще можно назвать эти мысли, наскоро вписываемые в школьные тетради? «Дневник» Бжозовского — книга, которая останется в польской литературе. Если можно было бы переиздать хотя бы это последнее слово затравленного писателя! Сам стиль этих заметок, ясный, точный, вибрирующий от внутреннего жара, показывает, чего достиг Бжозовский. Эту книгу нельзя просто прочитать, с ней нужно сосуществовать. Исчезает младопольская патетика, юношеское проповедничество, здесь мы видим постоянные расчеты с самим собой — безжалостные, и нечеловеческие усилия не утратить ничего из того, что еще хочется или необходимо выразить. Оклеветанный, словно бы выброшенный за рамки польского общества, умирающий в далекой Флоренции, он записывает: «Не стоическая несокрушимость, а превозможение терзающих ран», пишет о способности простить, являющейся критерием силы, о пустыне одиночества среди «глупости и мелочных воплей польского бытия». Стремительными штрихами Бжозовский освещает целые области проблем и мыслей, там нет страницы,

которая не заставляла бы читателя задуматься и подвести собственные итоги совести. Он пишет о литературе, противопоставляя ее чистой политике, о литературе, считаемой роскошью, как об «одном из самых верных путей, ведущих к освобождению от чудовищно глупых и развращающих политических суеверий». Мечтает о том, что, будь у него больше времени, он изменил бы «характер польской литературы на целые поколения» и был бы счастлив. За четыре месяца до смерти Бжозовский записывает: «Если бы я мог, если бы я только мог проучиться еще год, всего один год». Обращается к друзьям с отчаянной просьбой принести книги, которых ждет месяцами, ему не на что их купить, а в них он нуждается больше, чем в хлебе.

Бжозовский сурово оценивает своих друзей, молодых польских интеллектуалов, стремящихся к тому, чтобы «жизнь доставляла им удовольствие, удовольствие лично им, и если она таковой не является, это кажется им важным, достойным объективного изучения. Они моментально втягивают в дискуссию общество, Польшу, бытие, потому лишь, что, видите ли, у той или иной мелкой индивидуальности прервалось „ощущение удовольствия“».

Сколько же мыслей и замечаний, на сколько тем, которые могли бы, проживи Бжозовский подольше, разрастись в самостоятельные исследования о противоречивости любого искусства, поскольку «художественность определяется элементами, которые меняются медленнее всего», о лживости народного просвещения, если оно опирается на «веру в народ», без веры в правду и заботу о ней. Нет страницы, где бы читатель вчерашний, сегодняшний, завтрашний не нашел мыслей, которые касаются лично его, которые его то поддерживают, то осуждают. Как же немного людей в годы независимости вчитывались в эту книжечку, и кто читает ее сегодня, если ее и раздобыть – то негде? Всякий интеллектуал знал «Дневник» Жида или «Путешествие на край ночи» Селина. А кто знал это польское путешествие на край ночи, кого оно интересовало? Как сегодня Гомбрович, так в то время Слонимский отстранялся от Бжозовского. Бжозовским, — писал тогда Слонимский — «интересуются лишь снобы да религиозные ханжи».

Сам я тогда для Бжозовского ничего не сделал, так что я разделяю эту ответственность со всеми остальными. Мое письмо в связи с этим делом, которое я послал в «Вядомосци» и которое упоминает Милош, было равнозначно бездействию. Помню, как Философов сказал мне: «Ты думаешь, так

защищают память писателя? Написал три слова и снова уезжаешь в Париж? — Сказал: не разрешаю — и бежал на Прагу^[10]. — От такой защиты никакой пользы быть не может». Ее и не было.

«Суеверие о Боге».

Есть одна проблема, которая не дает Бжозовскому покоя с ранних лет, ему, бывшему в молодости воинствующим материалистом. Неожиданным образом он затрагивает ее уже в «Философии польского романтизма»; это проблема католицизма. Следует помнить, что антикатолицизм являлся тогда догматом прогрессивных кругов. Отношение же Бжозовского к католицизму выходит за эти рамки. Ставар обнаруживает здесь «естественное искушение», Богдан Суходольский — последовательный путь материалиста к католицизму. Густав Герлинг-Грудзинский в предисловии к «Философии польского романтизма», переизданной в Риме в 1945 году, утверждает, что гипотеза Суходольского абсолютно неубедительна. Я не знаю книги Суходольского, но доверяю оценке Грудзинского, высказанной в его очень интересном и вдумчивом тексте. Отношение Бжозовского к католицизму следует рассматривать под совершенно другим углом, чем это сделали Ставар и Суходольский. Сегодня, после Симоны Вайль, было бы легче охватить и понять переживания Бжозовского. «Крайнее сомнение становится, само об этом не ведая, органом веры», — пишет Бжозовский. Эти слова могла бы написать Симона Вайль в своем «Очистительном атеизме» из книги «Тяжесть и благодать».

Уже в «Легенде» мы встречаем высказывания Бжозовского о католицизме; они полны сомнений. В главе «Мифы» Бжозовский пишет: «В довольно широкой перспективе сегодняшний период в культуре можно рассматривать как распад католицизма». В конце книги он пишет: «Порой мне кажется, что я должен написать *Пресуществление*». Он видит в католицизме общественное творение, высочайшее, какое создал мир. Обращаясь в «Легенде» к Норvidу и противопоставляя его Сенкевичу, Бжозовский называет его «одним из самых католических, наиболее католических умов столетия, наиболее безусловно католическим из всех наших поэтов». При этом он не перестает осуждать официальный польский католицизм и видит в нем «фактор культурной изоляции, а отнюдь не единства с процессами, которые развиваются, разрастаются и углубляются на Западе». Нигде

отношение между католицизмом, глубокой моральной дисциплиной, охватывающей все бытие, и народным католицизмом не кажется ему столь деморализующим, как в Польше.

Говоря о Бодлере, о его просто-таки героической внутренней праведности, Бжозовский связывает ее с католицизмом поэта, поскольку:

«... католицизм опирается на убеждение, что жизнь каждого отдельного человека является частью неустанной борьбы, которую ведет искупленное человечество против Сатаны. Здесь важно всё».

«Католицизм объединяет понятие наиболее глубоко понимаемого универсализма с ощущением бесконечной значимости бытия каждой индивидуальности, каждой отдельной души».

Он снова возвращается к этому в «Одинокой душе»:

«Католицизм как чувство заключается в постоянном общении с целым... позиция мужская, закаленная, а не холодная, — возвышающая и братская, это одно из самых гордых творений человека, самых зрелых плодов его истории».

В главе о Выспянском Бжозовский также развивает идеи, связанные с пониманием католицизма, одновременно жестко осуждая польских «национальных» католиков. А в конце книги мы обнаруживаем такую фразу:

«Теперь, когда я ощущаю в себе непреодолимое стремление рассматривать все жизненные вопросы таким универсальным и одновременно индивидуальным образом, я невольно задаю себе вопрос, не является ли это психическим последствием католицизма, таящимся под самой оболочкой сознания... В тех случаях, когда католицизм не существует в нас как вера, он существует как форма потребности».

А ведь пишущий это Бжозовский католиком не является, что подчеркивает при каждом удобном случае. Ставар отмечает, что Бжозовский до конца своих дней воспитывал дочь в духе атеизма.

Потому что католицизм как раз и *не* существует в Бжозовском в качестве веры. Он восхищается католицизмом как феноменом, плодом исторического развития, но не верит в него.

«Дневник», последнее свидетельство мысли Бжозовского, запечатлевает в сжатом виде уже не месяцев, а дней окончательное и все еще полное сомнений отношение Бжозовского к вере и к католицизму.

25 декабря 1910 года, то есть за четыре месяца до смерти, Бжозовский записывает:

«Бог всеприсутствует; каждый, самый мимолетный факт жизни определяет жизнь, остается в ней раз и навсегда, то есть оказывается запечатлен в том, что по отношению к личности, к мгновению является бытием, определенным смыслом бытия и не только временем, но источником самого времени и мощью человеческой жизни, поэтому мы, пока живы, должны постоянно осознавать эту истину». «Не подлежит ни малейшему сомнению, что если было бы можно — если бы сам католицизм не сопротивлялся подобному стиранию границ — трактовать католицизм как творение исключительно человеческого духа, пришлось бы признать, что он заключает в себе сумму самых глубоких, самых обширных и самых богатых истин, что он необорим».

«Ни одна философия не выдерживает сравнения с ним как философией».

«Но католицизм выступает не как философия, не как наука, пусть даже о сверхъестественном, но как сверхъестественный, сверхчеловеческий факт».

И тут же:

«Попугайное племя! Повторяемые до оскомины фразы о сверхчеловеке; да ведь здесь, перед вами — то, что твердит вам: вы

суть нечто большее, чем то, что полагаете человеком и даже сверхчеловеком.

Он не предлагает нам ограничиться теорией, но создает сверхчеловеческие факты, ибо верующие Ньюмен, Паскаль, Бернар, сотни тысяч других живут и жили в области оправданного для них невозможного».

Так что же? Бжозовский все-таки католик? Да нет же! Запись от 12 января он начинает фразой:

«Отчаяние дается легче, чем покой...». И после очередной упоенной оценки католицизма добавляет: «И все же, все же, я не в силах скрыть, что вне этого всего существует лишь отчаяние. Я не католик, я ничего не знаю, обладаю определенной суммой антипатий и симпатий, но знаю, что все они удерживают меня в мире человеческом. И больше ничего. Ничего, кроме уверенности, что этого, как бы то ни было, недостаточно».

Жажда абсолюта, жажда Бога, который у Бжозовского неотрывен от тоски по Церкви, постоянно ощущается на страницах «Дневника». Уже в самом начале он замечает:

«Не сдаваться, не сдаваться, что нет передо мной ни перспективы, ни смысла, ни пользы, что моя деятельность кажется не более чем чудачеством, манией. Не сдаваться и стараться выйти из этого состояния. — Молись, молись, ежедневно хоть на миг вознося разум в ту область, где твои вопросы попадают в поле видимости».

В письме Остапу Ортвину от 26 января он защищается от упрека, что «погорел»...

«Вот увидите, я не погорел (правильно пишет Милош, что антиклерикализм являлся обязанностью имеющего левые убеждения), но, к сожалению, мое „суеверие о Боге“ неизлечимо».

Судя по письмам Бжозовского, он не только не был католиком, но даже вера его в Бога была скорее жаждой веры, тоской по вере. («Самое главное знать, что ты испытываешь жажду», — пишет Симона Вайль). У Бжозовского это также реакция на мелкость польской безрелигиозности.

«Безрелигиозность польской мысли способна довести до отчаяния. Тут словно бы дает о себе знать инстинктивно ощущаемая нехватка какой бы то ни было связи с долговременными, повсюду созревающими вопросами жизни рода человеческого. Мы не хотим мерить себя большой мерой».

Лишь две страницы «Дневника», от 2 февраля и от 5 апреля, в месяц его смерти, где Бжозовский признается в любви к Ньюмену, свидетельствуют о том, что он познал благодать веры. На последних страницах он пишет:

«I know, I know Ньюмена — не произвольный художественный оборот — впрочем, у Ньюмена нет такого рода произвольности, его творчество есть совершенное, точное выражение мысли. I know — это великолепная формулировка факта трудноуловимого, но неоспоримого, представляющего собой глубинную основу нашего существа. На дне нашей души есть свет. Она не теряет связи с неугасимым солнцем, и знает об этом, а также знает, что знает истину... Не забыть, помнить об этом I know, I know.

Любая вера в спасение человека по природе своей универсальна. Католицизм неизбежен.

Неизбежным, в самой идее человека укорененным фактом является Церковь. Человек без Церкви есть неразрешимая загадка. Жизнь человеческая — это насмешка и игрушка, если нет Церкви».

*

Эти выборочные страницы высказываний Бжозовского о религии и Церкви я хотел бы дополнить собственными воспоминаниями.

Бжозовский посвятил «Идеи» Валентине, урожденной Кольберг, и Эдмунду Шалитам. В 1920 году, поздней осенью, я

узнал, что супруги Шалиты живут в Кракове на улице Баштовой. В поисках любых следов Бжозовского я отправился к ним. Они приняли меня немного удивленно, может, поначалу недоверчиво. Насколько я помню, о Бжозовском я узнал от них немного. Был вечер, они не отпустили меня, пригласили выпить чаю. Мне запомнился скромный послевоенный быт. За длинным столом, кроме семьи Шалитов, сидела пожилая женщина с очень черными глазами и черными, с легкой проседью, волосами; она молчала на протяжении всего нашего разговора о Бжозовском, однако я видел, что она внимательно слушает. Внезапно женщина заговорила, в глазах у нее стояли слезы: «Были бы тогда деньги, Стась бы жил до сих пор» (я так понял, что она *присутствовала* при смерти Бжозовского и что она была его теткой). И тогда она рассказала о последних мгновениях его жизни, о которых я никогда ни до того, ни после ни от кого не слышал.

Бжозовский уже умирал. В Италии есть обычай допускать к умирающему детей, чтобы те молились рядом с ним. Бжозовский вдруг попросил привести священника. Это вызвало замешательство, ни одного священника Бжозовские не знали. Позвали патера из ближайшей церкви. Пришел старик итальянец, никогда не видевший Бжозовского и не знавший, кто он такой.

Детей вывели в соседнюю комнату, больной исповедовался и был помазан.

Когда старик священник вышел, он плакал и сказал детям, которые преклонили колени в соседней комнате, только одно: «Вернитесь в комнату умирающего, молитесь, там умирает святой».

Из этого визита к Шалитам мне запомнился только длинный стол; ужин, даже лица хозяев, которые так радушно меня приняли, изгладились в моей памяти, однако я вижу лицо в слезах, темные глаза этой старой женщины, ее голос, и слышу горечь в ее голосе, когда она говорила, что «Стась бы еще жил», и еще это лаконичное описание смерти Бжозовского, она ведь не могла это сочинить.

Может, кто-нибудь в Польше, может, дочь Станислава Бжозовского могла бы мне сказать, кем была эта женщина и действительно ли она, как я тогда понял, присутствовала при смерти Бжозовского.

1. Варшава: «Читательник» 1961.
2. Париж: «Институт литерацкий» 1962.
3. Полемика с книгой Ставара содержится в ценной статье Ежи Фияса «Бжозовский, Ньюмен, католичество» в «Тыгоднике повшехном» от 5 августа 1962.
4. Даты я указываю вслед за Ежи Ижиковским по варшавскому изданию «Легенды» 1937 года.
5. После выхода романа польского прозаика, поэта, литературного критика Юзефа Вейсенгофа (1860–1932) «Жизнь и мысли Сигизмунда Подфилипского» (1898), рисующего бесцельное существование аристократически-плутократической среды, термин «подфилиппщина» стал для современников синонимом снобизма и беспардонного социального карьеризма — Прим. пер.
6. «По мерзавцам — только картечью» (фр.).
7. Члены КП (Комитета парижского) — группы художников, созданной в 1923 году в Академии художеств в Кракове — Прим. пер.
8. Клуб футуристов, созданный в 1921 г. в Кракове — Прим. пер.
9. Цитирую по Ставару.
10. „Сказал: не разрешаю — и бежал на Прагу” — цитата из пьесы Ю. Немцевича (1757–1841) «Возвращение депутата» (1791) — Прим. пер.

Сладостные результаты экспорта

На истекший год вновь пришелся рекорд экспорта кондитерских изделий. Его объем составил почти 6,7 млрд злотых. Это говорит о росте более чем на 10% по сравнению с 2014 годом. В течение последних пяти лет можно говорить об удвоении этого объема. «Двигатель роста — шоколад и шоколадные изделия. Их экспорт увеличился на 11%, в то время как в сегменте конфет объем экспорта вырос только на 6%», — резюмирует Марек Пшездзяк, президент Ассоциации польских производителей шоколадной и конфетной продукции «Полбиско».

Увеличивать экспорт своей продукции изделий производителей вынуждает ситуация на внутреннем рынке кондитерских изделий, объем которого составляет 13 млрд злотых. Еще несколько лет тому назад темпы продаж росли более чем на 10% ежегодно. «Теперь уже в течение трех лет они падают. В прошлом году потребление шоколадных изделий упало почти на 4%», — поясняет Мацей Херман, директор отдела продаж и маркетинга фирмы «Лотте Ведель». В таком же темпе идет сокращение производства конфет — это результат нового отношения поляков к питанию, их отказа от сахара.

Что касается шоколадной продукции, то здесь большое значение имеет рост цен из-за повышения стоимости сырья, особенно какао (в декабре 2015 года тонна какао стоила 3390 долларов, а в январе 2015 года — 2693 долларов, при этом три года назад за сырье надо было заплатить 2205 долларов за тонну), а также из-за низкого курса злотого.

Проблемой для отрасли стала также большая конкуренция. Правда, речь здесь идет всего о трех основных «игроках»: «Ферреро» «Монделис» и «Ведель», которые контролируют почти половину рынка, однако на нем присутствуют еще несколько сотен других фирм. И пробиться со своим товаром в супермаркет при столь огромном разнообразии становится все труднее. Тем более, что торговля все более консолидируется. Доля сетей на рынке составляет уже 50%. На сотрудничество могут рассчитывать лишь субъекты производства, отличающиеся крупным масштабом деятельности, которые в

состоянии не только заявлять об удвоении объемов поставок, но даже целиком заполнить своей продукцией все магазины данной сети. «Кроме того, производителям все труднее договориться с сетями о благоприятных для себя условиях сотрудничества, так как последние стремятся к низким ценам. Поэтому даже тогда, когда возникает обоснованная необходимость повысить цену, например, из-за роста цен на сырье, они весьма неохотно соглашаются на какие бы то ни было изменения ранее принятых условий», — рассказывает Марек Пшездзьяк.

Конкуренция касается не только внутреннего рынка: все еще сохраняется не очень большое, но постоянно растущее участие производителей из Украины. Они предлагают свои кондитерские изделия в среднем на 20–30% дешевле, чем польские фирмы, так как имеют доступ не только к более дешевому сырью, но и используют более дешевую рабочую силу.

В такой ситуации польские производители вынуждены мириться со значительно более низкой маржей. «За 2015 год полных данных пока нет. Однако в первом полугодии доходы фирм, специализирующихся на конфетной продукции, упали на 3%, составив лишь 1,47 млрд злотых. В области шоколадных изделий тоже наметился спад, а именно — 4,61 млрд злотых», — говорит Михал Колесников, аналитик Банка пищевой промышленности. По оценкам экспертов, рентабельность в этом секторе на сегодняшний день составляет неполных 4%, т.е. в половину меньше, чем это было 10 лет назад.

Средством преодоления возникших проблем является экспорт. Производителей интересует уже не только Европа, но и более отдаленные рынки, такие как Азия, Ближний Восток и Южная Америка. Большие надежды польские производители возлагают на китайский рынок, где наблюдается динамичный рост спроса на шоколад, а также другие изделия из какао. Уже в 2014 году с точки зрения объема продаж этого вида продукции из Польши, Китай занимал третье место после Германии и Англии. В то время как в предыдущие годы он находился в четвертой десятке.

— В настоящее время доля экспорта в наших продажах составляет 7%. Самое большое количество продукции мы отправляем в Соединенные Штаты, Канаду, Англию и Ирландию. В рамках экспортной стратегии, рассчитанной на три года, мы ставим перед собой цель развития продаж и в других странах Центрально-Восточной Европы, а также в Азии. На этот год мы запланировали старт для наших первых тестовых маркетинговых кампаний, рассчитанных на

продвижение нашей марки за пределами Польши, — сообщает Мацей Херман. Фирма «Ведель» несколько лет тому назад вошла в японский концерн «Лотте».

На развитие экспорта настроено и Объединение польских производителей конфет «Отмухов». К этому фирму побуждают успехи, достигнутые в прошлом году. По итогам первых трех кварталов, объем экспортных продаж компании составил 18%. Годом ранее он составил 14%. Объединение намерено укрепить свои позиции на немецком, чешском и венгерском рынках. В планах компании значится — так же, как и у конкуренции — выход на китайский рынок.

Экспортные планы находят отражение в инвестициях. Фирмы модернизируют и расширяют производственные мощности с тем, чтобы удовлетворять постоянно растущие заказы из-за рубежа. «Только в первом полугодии 2015 года сектор конфетной и шоколадной продукции, в котором участвуют 75 фирм с числом сотрудников более 9 человек в каждой, инвестировал в производство 268 млн злотых. Это на 8% больше, чем в истекшем году», — поясняет Михал Колесников.

Еще больший рост отмечен в секторе фирм, производящих пирожные, печенье и сухари, которых насчитывается на сегодняшний день более 50. Они инвестировали 83 млн злотых, т.е. на 36% больше, чем в первом полугодии 2014 года.

Европейцы хотят отведать польского пива

По данным Союза работодателей пивоваренной промышленности в Польше — «Бровары польске», в прошлом году местные пивоварни экспортировали 3 млн гектолитров пива. Это на 200 тыс. больше, чем в 2014 г. Такова предварительная информация.

— Мы ждем еще официальных данных Главного статистического управления по делам экспорта и импорта, — говорит Данута Гут, директор Ассоциации польских пивоваров.

Эти данные только доказывают, что объем продаж за рубеж становятся все больше. По сравнению с 2008 г. они увеличились вдвое. Однако экспорт всё еще составляет менее 10% от всей продукции. Согласно последним данным Главного статистического управления, производство пива в польских пивоварнях составило более 40 млн гектолитров. Это означает рост почти на 2% по сравнению с 2014 г.

По мнению экспертов, все же следует ожидать, что в ближайшие годы продажи за рубеж будут набирать обороты. Кроме того, в этот процесс все активнее начнут включаться так называемые крафтовые (то есть небольшие частные) пивоварни. Именно их продукция лучше всего вписывается в последние мировые тренды пивного рынка.

— Интерес к напиткам, которые они производят, растет быстрее всего. Потребители ищут новых, незаурядных сортов пива хорошего качества. Одновременно польские частные пивоварни все охотнее принимают участие в международных конкурсах и фестивалях, завоеывая награды и премии. Их заметили потребители, что отразилось на увеличении спроса, — объясняет Земовит Фалат, эксперт рынка пива из компании «Броваматор».

Меняется также направление экспорта нашего пива. Еще несколько лет назад наши пивоварни искали рынки сбыта в таких отдаленных странах, как Китай, Новая Зеландия, Япония и государства Африки. Теперь все чаще появляется возможность поставлять свою продукцию в магазины и пабы

Германии, Бельгии и Скандинавии, куда прежде они попасть и не пытались, опасаясь проиграть местным конкурентам.

На новом тренде выигрывает, к примеру, «Бровар амбер» — семейная фирма из поморской деревни Белькувко, которая еще три года назад делала ставку на экзотические рынки сбыта. В прошлом же году в своей экспортной политике «Бровар амбер» сосредоточился на более традиционных — европейском и американском — рынках.

— Великобритания и США стали гораздо более открытыми и восприимчивыми к новому польскому пиву региональных и крафтовых пивоварен. С Польшей в этом сегменте начали считаться, она стала серьезным и уважаемым игроком. Экспорт наших марок премиум-класса увеличился в 2015 г. на 5%. Очень хорошо продавалось пиво из запущенной в прошлом году серии «По godzinaх». Наибольшей популярностью пользовались марки «Черри милк стаут» и «Мартовское», — говорит Марек Скрентный из фирмы «Бровар амбер».

Он подчеркивает, что в США и европейских странах наши сорта пива пользуются популярностью не только среди польской диаспоры.

— Польское крафтовое и региональное пиво все более востребовано на этих рынках. Оно прекрасно дополняет ассортимент местных производителей, — заключает Марек Скрентный.

К потребителям европейского рынка со своей продукцией все активнее пробивается и «Doctor Brew». Компания экспортирует уже 10% своего пива.

— К нам обращаются дистрибьюторы буквально со всей Европы. Больше всего из Германии, Франции, Испании, Финляндии, но сегодня практически нет такой страны Старого Света, откуда не было бы заказов, — говорит Лукаш Лис, представитель фирмы «Doctor Brew», ответственный за экспорт. Он добавляет также, что сегодня фирма поставляет за границу все марки своего пива. Единственное, что ее ограничивает в развитии экспорта, — это таможенные и акцизные правила, действующие в отдельных государствах.

— Например, скандинавы охотнее всего заказывают у нас пиво с содержанием спирта до 4,5%, поскольку более крепкие напитки разрешено там продавать только в определенных торговых точках, — поясняет Лукаш Лис.

На новом тренде попытается заработать также пивоваренный завод «Фортуна». До сих пор эта компания осуществляла продажи на внутреннем рынке.

— Мы планируем дальнейшее развитие экспорта. В первую очередь мы хотели бы оказаться на пивном рынке США. Поскольку этот рынок очень восприимчив, и риск неудачи в связи с этим меньше, — добавляет Кшиштоф Панек, председатель пивоварни «Фортуна». Впрочем, он убежден, что экспортная продажа не превысит доходов на внутреннем рынке. Мы по-прежнему видим в Польше огромный потенциал. До сих пор мы еще не продемонстрировали в полной мере своих возможностей. Например, мы планируем выпустить на рынок кислое пиво. Мы будем также продолжать производить пиво вторичного брожения в бутылках, — подчеркивает он.

По последним данным Главного статистического управления, производство пива в польских пивоварнях составило свыше 40 млн гектолитров. Это говорит о росте почти на 2% по сравнению с 2014 годом. Означает это и то, что за границей продается пока не более 10% продукции.

Что нас не убило, сделало нас сильнее

Польша по-прежнему является третьим в мире производителем яблок после Китая и США. Еще два года назад более половины урожая десертных яблок мы продавали в Россию. Летом 2014 г. Владимир Путин ввел санкции. «Чтобы понять всю драматичность ситуации, в которой оказались польские фермеры, скажу только, что в хранилищах у них осталась треть собранного урожая», — говорит Эберхард Макош, заслуженный профессор Люблинского природоведческого университета. «А были среди них и такие, кто продавал в Россию всё», — добавляет он.

Повислье-Любельское — второй после Груецкого повята садоводческий регион. Здесь выращивается каждое пятое польское яблоко. За счет люблинского хозяйства живут десятки тысяч людей.

Роман из-под села Вжелёвец с 10 гектаров сада ежегодно собирал 250 тонн десертных яблок. Его хозяйство кормило все три поколения семьи: «На оптовой бирже в Люблине я познакомился с Мироном, оптовиком из Казани. Он приезжал ко мне осенью и покупал всё. Расплачивался наличными, так как в России получал за мои яблоки тройную цену». Осенью 2014 г. МIRON во Вжелёвец уже не приехал. Он перестал отвечать на звонки, слух о нем пропал. Фермер вынужден был почти все яблоки за полцены отдать на переработку. Когда Путин вводил эмбарго, Рафал Шмит, председатель компании «FruVitaLand» из села Пётравин (это в пятнадцати минутах езды от Вжелёвца), был убежден, что его фирме ничто не угрожает. В 2012 г. он открыл логистический центр — цех площадью более 8 тыс. кв. метров. Яблоки могли отправляться из Пётравина в течение всего года. «Осень 2014 года была для нас ужасно трудным периодом», — вспоминает Шмит.

Прошло полтора года. Теперь из логистического центра компании ежедневно отправляются пять фур яблок. Они едут в супермаркеты «Петр и Павел», «Леклерк», на оптовый склад «Еврокэш». И так в течение всего года. «Восстановление рынка было тяжелой работой. Шаг за шагом мы находили новых клиентов. Нам помогли общественные акции, «продвигающие» моду на потребление польских яблок. Этому

способствовала и реклама польского сидра. В результате мы продаем сегодня внутри страны больше яблок, чем до введения эмбарго. Спасибо за это Путину», — говорит Шмит.

Компания Шмита объединяет 130 хозяйств, которые в течение года собирают 23 тыс. тонн яблок. В Люблинском воеводстве таких кооперативов шесть. После введения эмбарго они объединили силы, создав холдинг под названием «LubApple». Сегодня это второй игрок на польском рынке яблок. Лидером является холдинг из Груеца. По оценкам отрасли, в этом году общий объем продаж польских яблок вместе с экспортом достигнет уровня, который был до эмбарго. Через год он должен быть уже больше.

С председателем компании «FruVitaLand» я разговариваю в 60-метровом кабинете со стеклянными стенами. Виден зал, где сортируются яблоки. Машины моют, взвешивают, измеряют и оценивают фрукты. Сортируют по размеру, форме и цвету. «Это всё потому, что одна сеть магазинов хочет, к примеру, 10 фур яблок диаметром 6,5 см, а другая — 25 тонн диаметром 7,5 см, — говорит Шмит и добавляет — Евросоюз выделил на сортировочный цех больше половины средств. Без этих денег об этой инвестиции мы бы и подумать не могли».

Членом холдинга «LubApple» является также компания «Юзефув Сад», получившая название от местности в Повислье (это в десяти минутах езды от деревни Пётравин). Разговор с ее председателем Рафалом Пуком ежеминутно прерывается телефонными звонками контрагентов. Звонит экспортер яблок, работающий с Казахстаном, поставщик картонных коробок, в которых фрукты переправляются в Испанию, затем — посредник, доставляющий товар в Румынию.

— В прошлом сезоне в это время мы продали в Египет четыре 18-тонных контейнера яблок. Нынче в два раза больше, и это благодаря консорциуму. Мы продвигаемся в бизнесе, поскольку в состоянии реализовать любой контракт. Несколько фур однородного товара? Без проблем. Причем в любой момент. Мы открываем холодильные камеры и в течение нескольких часов высылаем товар клиенту, — говорит Рафал Пук.

В менее выгодной ситуации находятся индивидуальные садоводы, такие как Роман из-под Вжелёвца. Поскольку они лишились российского рынка сбыта, то вынуждены продавать товар на базарах и оптовых рынках. «У нас в деревне до сих пор действует старое правило: ты ни в коем случае не можешь вернуться домой с яблоками в грузовике. Это ужасно стыдно. Вот и представьте себе, почему мне приходится продавать

яблоки, если на одном рынке стоят три полных грузовика», — жалуется Роман.

Профессор Эберхард Макош считает, что санкции Путина помогут польскому садоводству: «За многие годы польские садоводы привыкли к не слишком требовательному российскому рынку. Они сосредоточивались на выращивании таких сортов яблок, как айдаред, которые без проблем и без ущерба можно было переправить фурой за две недели в Сибирь. После введения эмбарго мы остались с яблоками, которые трудно продавать остальному миру, поскольку там уже несколько лет господствуют более благородные сорта — более крупные, вкусные, а значит, и более дорогие. Благодаря Путину польские садоводы уже стали переходить на лучшие сорта яблок».

Профессор убежден, что эмбарго приведет к изменению структуры всего польского садоводства: «Его будущее — это большие группы производителей, объединенные в консорциумы. Потому что именно там более низкие затраты на производство и все технические новинки. Только такие фирмы могут высылать в Саудовскую Аравию контейнеровозы, наполненные лучшими в мире яблоками. К сожалению, сегодня в Польше только 15 % садоводов входит в подобные группы. На Западе ситуация обратная. Но эмбарго привело к тому, что тенденция создания групп наметилась».

Своей очереди вступления в компанию «Юзефув Сад» ожидают сегодня пять садоводов. Об объединении думает также Роман из-под Вжелёвца: «Меня всегда раздражало, что придется «скидываться» на зарплату председателя, который ездит на шикарной машине и ничего не делает. Но когда я узнал, что сосед, который вступил в кооператив, уже в апреле продал все яблоки, меня чуть удар не хватил».

Ольшевские, Кульчики

О польских миллиардерах, начинавших в эмиграции

Семьи Ольшевских и Кульчиков достигли огромных успехов, стали одними из самых богатых людей в Польше. Как выясняется, свои первые шаги в бизнесе они делали в Германии. Эмиграция за западную границу Польши предоставила им невероятно большие возможности и в обоих случаях послужила источником первых бизнес-инициатив, с которых началось построение семейных империй.

Семейство Ольшевских

На сегодняшний день Кшиштоф и Соланж Ольшевские — владельцы мощной польской фирмы «Солярис». Они фигурируют в списке «Форбс» как одни из самых богатых поляков. Автобусы и трамваи вышеназванной фирмы продаются по всей Европе, а также за ее пределами. Супруги работали на этот успех, начиная с восьмидесятых годов прошлого века. Однако они не были бы сегодня там, где находятся, если бы не эмиграция. Кшиштоф Ольшевский первые шаги в данной отрасли делал в Германии.

Вся эта история начинается еще во времена их учебы в вузах. Кшиштоф учился на механико-технологическом факультете Варшавского политехнического института, а Соланж — на факультете стоматологии варшавской Медицинской академии. Именно тогда супруги берут в своих вузах академические отпуска и отправляются в Швецию, чтобы на простых и случайных работах разжиться первыми сколько-нибудь большими деньгами, которые они после возвращения инвестируют в крохотную автомобильную мастерскую.

Отъезд на Запад

Очередным этапом, который, как оказалось впоследствии, был весьма важным в карьере Ольшевских, стал отъезд в Германию.

В первый раз Кшиштоф Ольшевский отправляется за западную границу Польши в 1981 г. Забирает с собой все сбережения и разъезжает в поисках разнообразных автомобильных узлов, деталей и запчастей, которых в Польше в то время было либо не достать, либо же они приобретались с чрезвычайными трудностями. Супруги ставят все на одну карту.

Военное положение, объявленное польскими властями в декабре 1981 г., застаёт Ольшевского за рубежом. Это ключевой момент в жизни будущих владельцев огромной фирмы «Солярис». Кшиштоф принимает решение остаться вместе с женой и детьми в Германии. Они поселяются в Западном Берлине.

Уже в январе 1982 г. Ольшевский устраивается на постоянную работу в должности инженера на новом заводе в Берлине. Завод выпускает автобусы марки «Неоплан»; там и по сей день ведется производство городских, междугородних и туристических автобусов. Карьера поляка на «Неоплане» развивается очень быстро и по-настоящему впечатляюще. Уже через несколько лет он становится директором предприятия. Однако для него этого мало, ему хочется от жизни чего-то большего, к тому же он тоскует по родине. Поэтому, едва только подворачивается удобный случай, — а это происходит в 1990 г., — Кшиштоф возвращается в Польшу как представитель этой группы немецких заводов.

Возвращение в Польшу

Момент, когда он принимает это решение, оказывается выстрелом в десятку. Польские «Елчи» и венгерские «Икарусы», которые доминировали на польских дорогах, прослужили уже немало лет, износились, и постепенно подходило время распрощаться с ними. По всей Польше автобусные парки готовят планы по замене подвижного состава и каким-то образом изыскивают деньги для этой цели. В результате Ольшевский ставит себе задачу: завоевать рынок. Лично садится за руль «Неоплана» и объезжает руководителей транспортных предприятий.

Бизнес помаленьку раскручивается, дела идут в гору. Однако подлинный перелом наступает в 1992 г. Одна фирма из Познани заказывает у Ольшевского 72 автобуса марки «Неоплан». Однако ставит при этом одно условие — сборка всех автобусов должна будет осуществляться в Польше. Кшиштоф с энтузиазмом передает эту информацию немецкой фирме. И

— увы — получает отказ. Немалую роль здесь играют политические соображения. Представители германской фирмы не намереваются открывать филиал своего производственного предприятия в государстве, во главе которого стоит профсоюзный активист, — речь идет, естественно, о Лехе Валенсе.

Ольшевскому даже в голову не приходит мысль о том, чтобы упустить такой случай. Он готовит план по организации производства собственными силами, а к «Неоплану» обращается с единственной просьбой — предоставить возможность использования фирменного названия, на что руководство компании соглашается. Семья Ольшевских принимает решение рискнуть и в очередной раз пускает в дело все свои сбережения. Естественно, их личных денег слишком мало, но им удастся привлечь нескольких внешних инвесторов. Наконец, они запускают производство в Болехово близ Познани (тогда там была деревня), и им удастся реализовать весь заказ целиком. При таких обстоятельствах возникает первая фирма Ольшевских — акционерное общество с ограниченной ответственностью «Неоплан Польска».

Очень скоро поступают очередные заказы. Но, как выясняется, немецкие транспортные средства не приспособлены к польским условиям. Жара летом, сильные морозы зимой, соль на дорогах и изобилующее выбоинами дорожное покрытие оказываются слишком серьезным испытанием для автобусов, которые в более мягких условиях проявляют себя великолепно. Именно тогда Ольшевский отдает себе отчет в том, что нашел для себя нишу на польском рынке. Именно тогда он в первый раз подумал о будущих «Солярисах».

Первый «Солярис»

Кшиштоф размышляет не слишком долго. Свой опыт и знания, приобретенные в Германии, а также уроки, которые постоянно извлекались им из неудач «Неопланов» на польских дорогах, он решает применить с наибольшей пользой и как можно скорее. В результате он проектирует автобус, для сборки которого используются только конструктивные элементы, доступные на рынке. Но первым делом, разумеется, проводит целый ряд исследований и тестов, принимая во внимание условия, господствующие в Польше. Для всей этой работы Ольшевский нанимает группу из 30 инженеров.

Когда в 1996 г. появляется первый «Солярис», то практически сразу новая машина покоряет сердца чуть ли не всех перевозчиков страны на берегах Вислы. Это транспортное средство оказывается настолько добротным, что вскоре вызывает восхищение и в других странах. Берлин становится первым городом за пределами Польши, который делает действительно большой заказ — на 260 автобусов. Есть смысл добавить, что немцы, выбирая «Солярис», отвергли предложения таких марок, как «Мерседес», МАН, «Вольво», «Рено» и «Скания». Очередной страной, оценившей достоинства польской новинки, была Швейцария, заказчиков из которой приводит в изумление качество наших автобусов, опережающее предложения других западных производителей.

Сегодня автобусы «Соляриса» уже много лет бороздят дороги по всей Европе и не только. Фирма Ольшевских оказалась огромным успехом мирового масштаба. Их семья владеет ныне имуществом общей стоимостью в один миллиард злотых и уже долгие годы находится в списке самых богатых поляков.

Соланж Ольшевская стала одной из наиболее влиятельных полек, а в 2011 г. ежедневная немецкая общенациональная финансово-экономическая газета «Хандельсблатт» включила ее в рейтинг самых влиятельных женщин из мира бизнеса. Когда она вместе с мужем жила в Германии, то работала младшим научным сотрудником на факультете детской стоматологии в Свободном университете Берлина. После возвращения на родину она плечом к плечу работала вместе с мужем, создавая фирму «Солярис». Одновременно с этим отдавала и продолжает отдавать много сил и времени общественной и благотворительной деятельности. В 1999 г. президент Польши наградил ее Золотым крестом заслуг за достижения в области польско-немецкого хозяйственно-экономического и культурного сотрудничества.

Семейство Кульчиков

Прежде чем говорить про Яна, самого богатого поляка, имеет смысл упомянуть о его отце, Генрике Кульчике. Этот человек появился на свет в 1925 г. в деревне Валдово, что неподалеку от городка Семпульно-Краенске на Поморье. Он был родом из купеческой семьи и сам продолжил семейную традицию. К сожалению, во времена Народной Польши действительность не была благосклонна к лицам, которые хотели заниматься собственным делом. Государство очень быстро национализировало каждый бизнес, который основывал

Генрик Кульчик. Из-за этого он в конечном итоге решил перебраться в Берлин, что и проделал в 1956 г. Это решение существенным образом повлияло на дальнейшую историю всей их семьи.

Как только Генрик Кульчик эмигрировал в Германию, он сразу учредил там фирму. Стал заниматься торговлей и в рамках собственной деятельности начинает ввозить из Польши в Германию грибы и ягоды. Предприимчивость была у него в крови, и очень скоро Кульчик-старший нажил значительное состояние. Затем он вместе со своим сыном Яном открывает в деревне Коморники так называемую полонийную^[1] фирму «Интеркульпол». Учит сына, как инвестировать, становится его ментором, а также проводником по миру бизнеса и предпринимательства.

Ян Кульчик заканчивает учебу в Польше, в Познани. Изучает право в Университете им. Адама Мицкевича и внешнюю торговлю — в Познанской экономической академии. Свое образование Ян завершает со степенью кандидата политических наук (1975), защитив диссертацию по международному праву, которая была посвящена договору об основах отношений между двумя частями разделенной Германии. Еще в студенческие времена он регулярно выезжает на сезонную подработку в Германию, где трудится в качестве официанта.

В 1980-е годы Ян Кульчик сосредотачивается на собственной фирме, для создания которой получает от отца свой первый миллион. Это одна из самых первых зарубежных фирм, возникших в Польше после Второй мировой войны. Его «Интеркульпол» производит косметические средства, аккумуляторы, бетонные плиты для строительства, а также сотрудничает с германскими концернами, производящими сельскохозяйственные машины. Одновременно Ян вместе с отцом входит в состав Польско-полонийной торгово-промышленной палаты «Интерпольком», которая занимается контролем деятельности всех полонийных фирм.

Ключевой момент

Затем молодой Кульчик переходит в автомобильную отрасль. В 1988 г. он становится официальным дилером «Фольксвагена» в Польше. Очень скоро к нему приходит первый успех, причем огромный. В 1991 г. он обслуживает заказ на три тысячи автомобилей за 150 миллионов злотых для польской полиции и

Управления охраны государства. Вся эта сделка между фирмой Кульчика и министерством внутренних дел оказывается организованной без открытого тендера. Благодаря этому заказу Кульчик приобретает огромный капитал, который умело инвестирует, и с этого момента начинает быть подлинным бизнесменом. Это один из важнейших моментов в его карьере, который позволяет ему расправить крылья.

Сразу после указанной автомобильной сделки в том же самом году возникает товарищество «Кульчик холдинг», которое два года спустя преобразуется в акционерное общество. В 1996 г. бизнесмен получает концессию на сотовую телефонию и становится пайщиком компании «Эра». По истечении трех лет он продает свои доли в упомянутых бизнесах — за 825 миллионов злотых.

На протяжении этого промежутка времени Ян Кульчик вкладывает деньги в строительство автострад в Польше, в том числе способствует возникновению автостреды А2, бегущую от границы с Германией в деревне Свецко через Познань, Конин и Варшаву, которую иногда именуют «польским мостом». Приобретает долевое участие в государственной фирме «Польская телекоммуникация» и через четыре года продает эту долю, зарабатывая 40 миллионов евро. Модернизирует познанские пивоваренные заводы, снова покупает в них долевое участие, увеличивает капитал и опять — таки продает. Кульчик доводит до совершенства деятельность на рубеже государственного и частного интереса. Действует динамично и уверенно; лица из его окружения говорят, что он обладает огромным талантом к бизнесу, а инвестиции и сделки совершает с легкостью, но в то же самое время с необычайной осмотрительностью и благоразумием, после глубоких и всесторонних размышлений, словно при игре в шахматы.

Финансовые достижения Кульчика

В 2012 г. польская версия журнала «Форбс» поместила Яна Кульчика на первое место в списке самых богатых поляков, тогда как в американском эквиваленте этого издания он оказался на 384 позиции среди самых богатых людей на планете. Звание самого богатого поляка этот бизнесмен получал 13 раз.

Ян Кульчик умер 29 июля 2015 г. в Вене в возрасте 65 лет. Нажитое имущество он искусно, со знанием дела умножал, но, вместе с тем, умел и делиться им. Как и его отец, скончавшийся

двумя годами ранее в возрасте 88 лет, который в период военного положения посылал на родину тонны лекарств и медикаментов, но поддерживал также возведение Центра здоровья ребенка в Западном Берлине. Ян Кульчик руководил собственным фондом, который помогал способным детям из бедных семей, выделяя им стипендии, а также учредил десятки научных премий, оказывал помощь познанским театрам и высшим учебным заведениям, покупал произведения искусства, передавая их затем польским музеям. Музею истории польских евреев в Варшаве он предоставил самое крупное разовое денежное пожертвование (20 миллионов злотых), профинансировав постоянную экспозицию этого музея. Кульчик был также соучредителем Польского совета бизнеса и Польско-германской промышленно-торговой палаты, председателем совета Международного Зеленого Креста, вдохнул жизнь в польское отделение такого учреждения, как Институт развития Центральной и Восточной Европы (Central and Eastern Europe Development Institute,) — так называемый think-tank (коллектив «умных голов», т.е. ученых и специалистов высокой квалификации), целью которого является продвижение всевозможных достижений государств Центрально-Восточной Европы и популяризация их экономического потенциала. В Польше Яна Кульчика считают лидером перемен и их символом.

Обе описанные фигуры представляет собой превосходные образцы того, каким образом следует разумно использовать эмиграцию, как черпать опыт и вдохновение от более крупного соседа. В нынешние времена эмиграция приобрела другое значение, атмосфера вокруг нее насыщена отрицательными эмоциями. Как мы видим, такое клеймо вовсе не обязательно. Разумеется, можно сказать, что в обеих поведанных здесь историях успех отчасти был обеспечен принадлежностью к неформальным структурам, знакомствами и семейными финансами... Однако, невзирая на это, в значительной степени именно пребывание в Германии дало обеим семьям возможность реализовать свои планы, связанные с бизнесом.

DIALOG

1. Этот термин в эпоху ПНР означал фирму, организованную в

стране польским эмигрантом или лицом польского происхождения; подобные предприятия пользовались определенными льготами — Прим. пер.

Что от бизнесмена, а что — от частника

Или почему в Польше плохо относятся к предпринимателям

На протяжении 45 лет нам внушали, что спекулянт — это зло. Крадет, обманывает и манипулирует. Это язва на здоровом теле социалистического хозяйства. Наконец на смену планированию и регулированию цен пришел рынок (со всеми присущими ему изъянами). Партийной и рациональной (в меру партийного ума) экономики больше нет, но негативный образ предпринимателя по-прежнему жив и прекрасно себя чувствует. В глубоко укоренившихся негативных эмоциях по отношению к тем, кому удалось чего-то достичь, есть нечто исконно польское. Кроме того, нам чрезвычайно удобно объяснять свое чувство горечи и разочарования, свои негативные оценки людей и ситуаций именно побочными следствиями длительной терапии ненависти ко всему, что хоть немного связано со свободным рынком. Все, что касалось предпринимательства, так или иначе, было подозрительным — это факт. Однако мы не хотим замечать, что прожили уже почти 30 лет после краха коммунизма, поэтому попытки заслоняться его последствиями становятся бесосновательными. Но существует и другая сторона медали. Это немного напоминает старый анекдот о беседе владельцев двух фирм: — Ты своим сотрудникам еще платишь зарплату? — спрашивает первый. — Нет. — Я тоже нет. А они все равно приходят на работу? — Приходят. — У меня тоже. Так, может, начнем брать с них плату за выход на работу? И грустно, и страшно. И при этом по-прежнему актуально, поскольку капельницу, из которой сочится недоброжелательное отношение к бизнесу, зачастую, как это ни парадоксально, поддерживают сами владельцы фирм. Просто волосы на голове встают дыбом, когда слышишь, как сегодня, в 2016 году, выглядит польский капитализм. Какие стандарты управления действуют в польских фирмах, особенно в малых и средних. Какие «византийские» дворцы строят себе предприниматели, которых называют «вахлаками бизнеса», так как по менталитету они все еще не выросли из белых носков и малиновых пиджаков. И, наконец, проблема

массового моббинга в польских фирмах. Разве это не «заслуга» предпринимателей? Конечно, частично да. Но как определить, что перевесит в данном вопросе, кто виноват больше? На ком лежит ответственность за то, что у поляков сложился не самый лучший образ польского бизнесмена? И тут как в известной пословице — правда посередине. И на тех, и на других, и на предпринимателях, и на тех, кто на них работает.

По данным опроса общественного мнения, который проводился в текущем году организацией, объединяющей предпринимателей, люди, не занимающиеся хозяйственной деятельностью, считают, что «доходы предпринимателей и успех фирмы — это заслуга ловкачества, нечестности и умения обойти или нарушить закон». Именно так интерпретирует успех на рынке тысяч польских фирм любой Ковальский, обычный гражданин Польши. Правда ли это? Неужели дела обстоят так плохо?

— Несомненно, поведение некоторых представителей частного бизнеса зачастую бывает безнравственным. Почти каждый день можно услышать о манипулировании клиентом, об умышленном обмане ради получения максимальной прибыли. Я сам, как предприниматель малого бизнеса, сталкиваюсь с подобным. Даже крупные концерны делают все, чтобы обмануть клиента, — говорит Мирослав Словиковский, бизнес-тренер и управляющий партнер фирмы «TIM Training». — «Поскольку весь рынок действует по тем же правилам, просто с разной интенсивностью, то и малые, и более крупные предприниматели вынуждены принимать одну из двух возможных стратегий: либо обманывать и быстро зарабатывать, либо за счет честной работы и хорошей репутации постепенно завоевывать клиентов. Второй путь весьма труден, и по-прежнему слишком немногие предприниматели считают, что он окажется рентабельным в длительной перспективе. Поэтому по-прежнему очень многие выбирают первый путь, — добавляет Мирослав Словиковский. Действительно, часто поведение предпринимателей служит обоснованием для того, чтобы называть их «вахлаками бизнеса». Но откуда появляется такое поведение? Наверняка не только из личного желания выбрать кратчайший путь. Просто в бизнесе это рано или поздно становится единственным выбором. Ответ на этот вопрос можно отчасти найти в исследованиях «Поляки о ведении бизнеса». Катажина Ковальчук из Центра изучения общественного мнения пишет в итоговой части этого материала: «Слишком большие издержки производства, слишком высокие налоги на доходы фирм, а также слишком много регламентирующих правил, таких, как необходимость получать разного рода концессии и разрешения, — таковы, по мнению общества, главные проблемы, с

которыми сталкиваются предприниматели. О больших издержках знают более половины поляков, о высоких налогах — почти половина. Может быть, поэтому лишь 18% из нас раздумывают над тем, стоит ли в будущем заняться самостоятельной хозяйственной деятельностью, а 40% никогда об этом не думали и даже планов таких не строят». Если очень большая группа поляков знает о проблемах, существующих в бизнесе, то сам бизнес может ощущать себя просто придавленным этими проблемами. Хочешь — не хочешь, но он должен на них отреагировать.

Статистика — это одно, а реальные истории — другое. Я не собираюсь защищать предпринимателей, многие из них никакой защиты не заслуживают, но кое-кто из них рассказывает интересные вещи. Например, девелопер, который застраивает новые районы на востоке страны.

— Когда-то многие проблемы можно было решить с помощью небольших подарков — ужин, шелковый галстук или виски single malt. Так или иначе, 200–300 злотых — и никакой головной боли. Теперь можно что-либо уладить только с помощью взяток, причем ни много ни мало, а таких, что хватит на новый автомобиль. Естественно, улаживаются дела с чиновниками, которые держат тебя за горло, чувствуют себя хозяевами положения. Они могут либо возвести тебя на финансовый пьедестал, либо столкнуть в пропасть. Достаточно одного их желаний, чтобы доказать, что ты совершенно напрасно потратил 5 млн злотых на участок под постройку трех зданий, так как там ничего построить не получится. Что ты просто утопил эту огромную сумму. И ничего с этим не поделаешь, потому что они так сказали. То есть, несмотря на план освоения данной территории, они не дадут осуществить застройку или будут бесконечно затягивать сроки. Взятку я боюсь, не хочу попасть в тюрьму. И должен ли я в такой ситуации, когда речь идет о существовании фирмы и занятости почти сотни человек, должен ли я при этом особо беспокоиться о том, хорошо ли я с ними обращаюсь, не обидел ли я их, не дай Бог? А то вдруг, если я их обижу, образ предпринимателя ухудшится? Просто смешно! Польская действительность — это же джунгли, и у меня нет времени на нежности, — жалуется он.

Может, и джунгли, но такие, в которых именно работодатели чаще всего охотятся за работниками. Чтобы уравновесить сказанное, приведу рассказ бывшего сотрудника большой польской торговой фирмы, которой принадлежит несколько десятков продовольственных магазинов: владелец фирмы постоянно всем сотрудникам говорил, что они — воры, лентяи, каналы и крысы. Что они никуда не годятся — ведь если бы они хоть что-то умели, то не работали бы в магазине. Что

живут они только благодаря ему, так как никто им не дал бы даже пособия. Вот какой он человечный хозяин. А они его еще и обкрадывают, он одного поймал, когда тот ел яблоко. Он мог толкнуть работника, дать пинка, похлопать по спине или по другим частям тела. Однажды он кого-то ударил, но, к сожалению, без свидетелей. Текучка кадров в этой фирме была чрезвычайно высокой. «Сам я выдержал там только год. Никто из тех, с кем я работал, у того хозяина больше не работает. Заметьте, все это происходило не в XIX, а в XXI веке. Два года тому назад», — вспоминает бывший сотрудник этой сети. Такие случаи формируют наше личное негативное отношение к предпринимателям на долгие годы. Когда мы об этом только слышим, они кажутся не столь уж ужасными. Однако если подобное случается с нами, то почти наверняка нас не удастся убедить в том, что владельцы фирм, — конечно, за некоторым исключением, а такие всегда найдутся, — заслуживают хоть сколь-нибудь теплого к себе отношения. Это отчетливо видно, если принять во внимание исторический уже, т.е. относящийся к началу польской экономической трансформации, контекст. По данным ЦИОМа (тот же опрос), в январе 1991 года, вскоре после политической трансформации, три четверти поляков (73%) поддерживали «попытки создать в Польше экономику свободного рынка по западному образцу». Ведь это была наша цель в течение многих лет: выезжая на наших малолитражных «сиренах» в отпуск в Болгарию (а это было самое большее, что мы могли себе позволить), мы мечтали о «мерседесах» и отдыхе на Лазурном берегу. Употребляя сладкие плитки, мы мечтали о настоящем шоколаде. Обставляя квартиры мебелью из древесно-стружечных материалов — ДСП, мы мечтали приобрести кресла «Честерфилд» из настоящей кожи. На протяжении многих лет это для нас было недоступно, поэтому падение железного занавеса, особенно в той сфере, которая касалась перспектив экономики, мы восприняли с настоящим энтузиазмом. Однако спустя несколько лет этот энтузиазм резко снизился, так как трансформация нас разочаровала. Прежде всего, она оказалась бескомпромиссным материальным состязанием, во время которого густо падают трупы, но никто из-за этого особенно не переживает. Ответственность за эти трупы в значительной мере ложится на владельцев фирм, которые разрушали польский капитализм своей жаждой денег. В итоге в 2000 году уже только две пятых поляков (41%) — почти в половину меньше, чем девять лет назад — считали, что экономика, в основе которой лежит свободный рынок — предел мечтаний наших отцов, — и есть лучшая для Польши экономическая система. В 2006 году, спустя еще шесть лет деятельности польских фирм и польского рынка, лишь 35%

поляков были уверены, что модель экономики, основанная на прибыли, та модель, которая нам так нравилась еще в 1991 году, — это именно то, что нам требовалось, когда мы сопротивлялись коммунистическому режиму столь сильно, что кое-кто за это заплатил жизнью. К счастью, теперь дело обстоит немного лучше, хотя еще не совсем хорошо. Вроде бы половина из нас считает, что польский капитализм ежедневно успешно сдает экзамен (лишь половина или целая половина?), однако 37% уверены, что этот экзамен мы провалили (у остальных нет мнения). Эти 37% недовольных — самый большой процент за 15 истекших лет. Невозможно подсчитать, сколько из них голосовало за Пис, ибо они почти всегда протестуют против всего и почти всем недовольны, но среди избирателей этой партии почти три четверти (72%) считают, что польская экономика и польские фирмы работают плохо. Наверняка в какой-то мере на эти негативные оценки влияет тот факт, что Пис вот уже много лет на тему бизнеса особо одобрительно не высказывается, тем самым по умолчанию соглашаясь, чтобы за все плохое возлагалась ответственность на бизнес (разумеется, более всего виноваты всегда «Гражданская платформа» и Дональд Туск).

Отрицательная оценка бизнеса — это еще и производная распространенного среди поляков мнения, что рыночная экономика в наших условиях дает шанс обогатиться лишь немногочисленной группе (79% из нас подписывается под таким утверждением). Только каждый восьмой (12%) считает, что благодаря такой экономике растет жизненный уровень граждан, и все становятся все более зажиточными. По данным опроса общественного мнения, проведенного ЦИОМом, с экономикой, основанной на частном предпринимательстве, более всего ассоциируются: прибыль (71%), развитие и технический прогресс (по 69%), свобода (60%), производительность (59%), а также благосостояние (58%), но также эгоизм (52%), коррупция (48%) и отсутствие равенства (46%). Более половины поляков (56%) считают, что в самом начале системных преобразований фирмы основывали прежде всего те, кто имел связи и знакомства в различных институтах, главным образом общественных. Сегодня число радикальных мнений по этому вопросу снизилось, но не настолько, чтобы оставаться незамеченным. Две пятых из нас (39%) убеждены, что начать собственное дело ныне решаются прежде всего те, у кого есть неформальные контакты, а, значит, частный сектор руководствуется не равенством шансов, а привилегированным доступом. «Поляки в настоящее время более скептически, чем еще пять лет тому назад, оценивают выгоду, которую нашей стране приносит рыночная экономика. В определенной мере это следует из растущего недовольства

тем, как функционирует в Польше эта экономическая система», — резюмирует Катажина Ковальчук из ЦИОМа. В Польской экономической палате также отмечают, что польский бизнес ассоциируется скорее с ловкачеством, чем с миссией. Агнешка Дурлик из ПЭП считает, что виной тому старые методы деятельности владельцев фирм, которые, создавая в 90-е годы основы нового польского экономического порядка, забыли, что поведение, основанное на принципе «цель оправдывает средства» годится в литературе, а в реальной жизни совсем не обязательно.

— Когда-то более естественным казалось закрывать глаза на сомнительные с точки зрения закона или этики поступки, на которые решались предприниматели, особенно в том случае, если они достигали хороших результатов. В начале 90-х, когда в Польше еще не было железных правил ведения бизнеса, кроме одного — зарабатывать как можно больше, — случалось всякое. Некоторые совершали действия, которые сегодня подпадали бы под определенные статьи уголовного или фискального кодекса, но тогда и результаты значительно превышали намеченные планы, — поясняет Агнешка Дурлик.

Форум гражданского развития и Польский совет бизнеса, которые возглавляет Лешек Бальцерович, недавно подготовили документ под названием «Образ предпринимателя». Из этого документа следует, в частности, что «предприниматели ассоциируются у нас скорее с чем-то хорошим, и мы положительно оцениваем их вклад в национальную экономику». Добавим к этому, что «постоянный экономический рост Польши возможен только при участии отечественного предпринимательства». Но если взглянуть несколько глубже, то будет легче понять, почему патока первых официальных страниц документа окажется не столь уж сладкой в финале. И почему, несмотря на эти важные декларации, оценка, которая даётся владельцам польских фирм и тем, кто имеет бизнес в Польше, не отличается восторженным оптимизмом. По мнению принявших участие в опросе, лишь половина работодателей вовремя рассчитывается по своим обязательствам, в том числе выплачивает зарплату сотрудникам и переводит деньги подрядчикам. Ещё хуже обстоит дело с правильным документированием рабочего времени (а это связано с возможными гонорами за сверхурочные часы либо с отсутствием таковых) — лишь 41% работодателей, согласно докладу, как следует за этим следит. Несколько хуже, чем в Польше, оцениваются предприниматели только на Кипре, в Греции, в Болгарии и в Словакии. Лучше — во всех остальных странах Евросоюза. Лидирует Дания (79% положительных оценок), следом идут Ирландия, Финляндия, Австрия и Германия.

— В Польше механизм конкуренции не в состоянии исключить нечестных предпринимателей. Упрощение правил и наказание за любой обман должны применяться гораздо жестче. Только это дает шанс сделать бизнес более цивилизованным и улучшить его образ, который зачастую сам бизнес и портит, — такое мнение высказывает Мирослав Словиковский из «TIM Training». — Необходима также значительно более эффективная защита граждан от всякого рода ростовщичества, вымогания денег и умышленного введения в заблуждение. В этом случае государство совершенно забыло о гражданах, а чувство безнаказанности у многих нечестных предпринимателей стало почти безграничным. Изабелла Гжанка в своей работе «Общественный капитал во взаимоотношениях с клиентами», которая теоретически считается обязательной для управляющих предприятиями, пишет так: «Любая интеракция с клиентом в любом из возможных его взаимодействий с предприятием должна быть направлена не только на максимальную степень обратной связи в таком взаимодействии, но, прежде всего, должна укреплять уверенность клиента в том, что он для данного предприятия наиболее важен». Жаль, что в польских условиях это по-прежнему всего лишь образ, существующий только в учебниках, образ далекий от реальности.

Коррупции у нас все меньше

В 21-й раз международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл» (Transparency International, ТИ) опубликовала ежегодный рейтинг коррупции в мире. Из 168 стран, оцененных на основании индекса восприятия коррупции, выше всех оказалась Дания, получив 91 балл из 100 возможных. На втором месте — Финляндия (90 баллов), на третьем — Швеция (89).

На имидж последней лег тенью коррупционный скандал в Узбекистане, в котором была замешана шведская телекоммуникационная фирма «TeliaSonera». Тем не менее, именно скандинавские страны меньше всего подвержены раковой опухоли коррупции. В первую пятерку рейтинга ТИ вошла еще Норвегия, разделившая с Голландией 5-е место. На 13-й позиции находится Исландия.

— Феномен скандинавских стран заключается в том, что у них решения, которые мы внедряем сегодня, начали применяться уже на исходе XIX века. Это тогда в них появились нормативные документы, касающиеся доступа к публичной информации и аполитичности гражданской службы. В наше время шведской госпоже министру достаточно было всего один раз расплатиться служебной карточкой за памперсы для своего ребенка, чтобы она потеряла пост. Это связано с прозрачностью действующих там правил и используемых методов управления, а также с политической культурой в указанных странах, — объясняет в разговоре с газетой «Жечпосполита» Гражина Копинская, эксперт программы «Ответственное государство» Фонда им. Стефана Батория.

— Наши данные за 2015 г. ясно показывают, что коррупция по-прежнему разъедает планету. Но 2015-й был вместе с тем годом, когда люди вновь вышли на улицы, протестуя против коррупции. Тем самым они послали своим правительствам мощный сигнал: пришло время максимизировать усилия в борьбе с коррупцией, — подытожил Хосе Угас, председатель правления ТИ.

В первой десятке стран, где коррупция ощущается в наименьшей степени, преобладают европейские государства. Их там семь — кроме скандинавских, это также Голландия, Швейцария и Германия.

В азиатско-тихоокеанском регионе наименьшая степень коррупции зафиксирована в Новой Зеландии (она опустилась на 4-е место со 2-го в 2014 г.) и Сингапуре (8-е место).

В Северной Америке лучше всего дела обстоят в Канаде (9-е место). США оказались на 16-й позиции. В Южной Америке лидируют Уругвай (21-е место) и Чили (23-е место). На Ближнем Востоке лидером по прозрачности действий власти и по соблюдению законов является Катар (22-е место). В Африке, где коррупция процветает, выделяется Ботсвана (28-е место), получившая 63 балла, иными словами, на один балл больше, чем Польша.

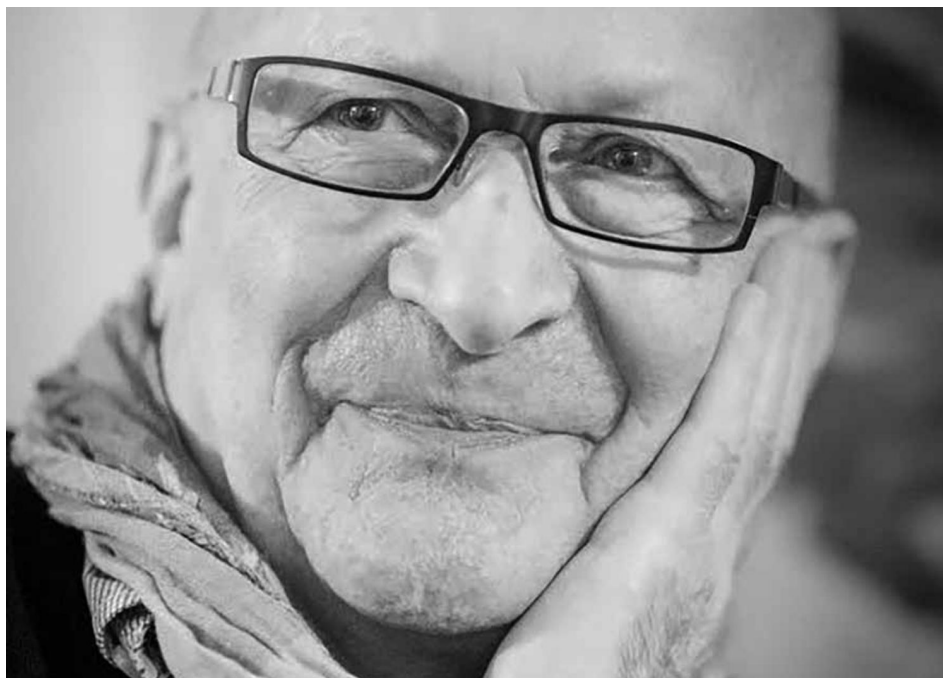
В Центральной и Восточной Европе наилучшая ситуация в Эстонии (она в списке ТИ 23-я — вместе с Чили) и Польша (30-е место). Польша оценивается лучше, чем многие из стран Евросоюза. Ниже нее расположились, в частности, Литва, Кипр, Словения, Испания, Чехия, Мальта, Латвия, Хорватия, Венгрия, Словакия, Греция, Румыния или Италия — она в данном списке 61-я.

С 2006 года Польша постепенно продвигается вверх в рейтинге ТИ. Сейчас нам присудили 62 балла, тогда как 100 означает полную прозрачность. «В течение последнего года мы заработали 1 балл (на протяжении десяти лет — 25 баллов), и из числа новых стран Евросоюза нас опережает только Эстония. Напомню, что когда мы вступали в Евросоюз, из десяти новых членов нас оценивали хуже всех», — отмечает Гражина Копинская. В 2014 г. Европейская комиссия впервые оценивала явление коррупции на территории Евросоюза, и оказалось, что в некоторых из так называемых старых стран-членов (например, в Греции, Италии, Испании) она выше, чем в части новых.

Авторы отчета обращают внимание на вызывающий беспокойство рост коррупции в Венгрии, Черногории, Македонии, Испании и Турции. Однако наибольшей коррупцией в Европе характеризуется Украина (130-я позиция). Россия, получившая 29 баллов, улучшила свои показатели, поднявшись с 139-го места в 2014 г. на 119-е, иначе говоря, на уровень Гайаны, Сьерра-Леоне и Азербайджана.

Список замыкают Сомали и Северная Корея с 8 баллами. В этих странах нет никакой прозрачности власти и действующих правил, а коррупция вездесуща.

Актер



Войцех Пшоняк. Фото: Э. Лемпп.

Львов — город моих родителей, там я появился на свет 2 мая 1942 года. Я помню его только урывками. Город, в который я больше никогда не ездил. Львовяне, не знаю все ли, но это люди, которые скучают по своему городу, вспоминают его. Мой отец рассказывал о нем часами. Он встречался с земляками, когда мы потом жили в Гливице.

Мой дед был химиком, директором водочного завода Бачевского, который находился в еврейском районе — на Богдановке. Львов каким-то образом засел во мне, потому что я до сих пор помню рецепты — а я интересуюсь кухней, — которых уже практически никто не помнит, потому что это была еврейская беднота, которая, понятное дело, исчезла после Второй мировой войны. Так что у меня есть, например, рецепт карпа по-еврейски, его не знает никто. Его делала мама, а я стараюсь готовить не хуже мамы.

Что у меня осталось из Львова? Ну, не много, потому что мы потеряли всё. Представьте себе, мой отец мечтал о доме, купил очень красивый участок земли на Высоком Замке, откуда открывался вид на весь город. Строительные материалы были уже готовы, рабочие должны были начать стройку 1 сентября 1939 года. Помню, как я рассматривал чертежи отца в Гливице, сейчас мне жаль, что я не смог построить такой дом, но у меня

нет детей, нет большой семьи, так что такой дом был бы ни к чему. Это была мечта отца, и он, по сути, уже не смог оправиться после того, как ему пришлось покинуть Львов. Он всегда говорил, что взял бы тележку и вернулся. Я помню, что он всегда был грустный. Мама нет, женщины, мне кажется, более прагматичны и как-то умеют принять новую ситуацию и приспособиться к новым условиям, а мы так и остаемся немножко мальчишками, у которых отняли игрушки.

Из Львова у меня есть еще отцовская хрустальная пепельница с его стола, лампа, несколько семейных картин — те, что сохранились, потому что в Силезии мы поселились в маленькой квартире. Часть сохранившихся вещей лежала в подвале, например, два прекрасных портрета моих деда и бабушки. Помню, они стояли рядом с углем — ну, и испортились, конечно. Жалко. Этого не понять французу, англичанину, представителям народов, история которых была не такой трагичной, как наша. Может быть, не у всех поляков, но у меня постоянно такое впечатление, что я куда-то еду с чемоданами. И уже ребенком я понимал, что все в каком-то смысле временно. Рай был утерян безвозвратно, а все, что было, было на время. Было неизвестно, что случится завтра. Поэтому моя жизнь — это этапы, и я все время перехожу к следующему.

Другое дело, хорошо это или плохо, но у меня нет такого полноценного ощущения спокойной, безопасной жизни. Конечно, я актер, так что это тоже влияет на все, но я думаю, что это начало — война и необходимость уехать из Львова — было решающим для всей оставшейся жизни.

Мы потеряли всё. Моя мама была из очень богатой семьи, была единственной дочерью, у нее, например, было десять комнат в анфиладе. Я еще помню эти маленькие коврики, порезанные на части из большого ковра, который тянулся на все десять комнат. Из этой роскоши мы попали в Силезию, и маме пришлось привыкнуть.

Мой дед, Бабиш, был венгром. Со стороны матери у меня вообще такая смесь — армянская кровь с венгерской. По линии отца я чистый поляк, поэтому моя фамилия Пшоняк. Галиция была местом, где смешивались разные культуры. Мой дед, отец матери, был большим любителем оперы. У него были свои дрожки и свои места в театре. Дрожки отвозили мать в школу и привозили домой. Львов был также местом, где учился мой отец. Потом он стал ассистентом в Политехническом институте, а затем ассистентом на опытной станции. Там мои братья, они гораздо старше меня, ходили в школу — в ту же, что и Збигнев Херберт. Тут я вернусь, пожалуй, к еще одной детали, касающейся деда, который посещал оперу. Возможно, я потому и связан с театром — всё началось с деда. Моя мать тоже обожала оперу и театр, знала все оперы на память. До сих

пор у меня еще хранятся программки львовских театров и оперы. Даже странно, что они сохранились. Моя мать была несостоявшейся художницей и несостоявшейся скрипачкой. Она рано вышла замуж за отца, потому что была влюблена в другого, он был врачом. Она смотрела на него из окон квартиры, когда он проходил мимо, и ждала его. Однажды она увидела, как он встретил работницу и поцеловал ей руку. В этот момент моя мама, сумасбродная единственная дочь, порвала с ним и вышла за моего отца, который был на 18 лет старше нее. Вот так получилось, что мать вышла за моего отца. Я не считаю, что это было удачное замужество, и всегда говорил ей: не надо было этого делать. У них были разные характеры и интересы. У мамы был невероятный темперамент, масса энергии. А отец был очень спокойный, тихий и не особенно любил оперу, поэтому мама, не находя в нем отклика в сфере искусства, пыталась каким-то образом повлиять на моих братьев. Антоний стал актером, учился пению и т.д. Старший перед войной уперся, что хочет быть офицером, ну и, к сожалению, стал им... после войны. Из-за этого отец очень страдал, потому что, как можно догадаться, коммунизма мы не любили. Я отторжение впитал с молоком матери, это была такая прививка против того, что потом происходило в сталинские времена. Так что вопроса, в какую сторону идти, у меня никогда не возникало.

Конечно, есть еще и Львов кулинарный. Моей матери не надо было готовить, потому что дома у нее была кухарка и прислуга, так что, когда она вышла замуж за отца, то пошла на такие курсы, на которые до войны ходили девушки из хороших семейств, чтобы научиться готовить. Так что этот как будто разбитый Львов остался в таких разных элементах. У меня есть иконки из Львова, есть Ченстоховская Божья Матерь, которая висела у нас в квартире, есть моя серебряная ложечка, подарок на крестины. Я очень ценю эти вещи, потому что это единственное, что связывает меня с тем миром, семьей, историей моих родителей. Вероятно, я не стал бы актером, не познакомился бы с моей женой, если бы жил во Львове. Может быть, занимался бы производством спиртных напитков... Во всяком случае, сидел бы сейчас не здесь, в Варшаве, а во Львове, и говорил бы с сильным львовским акцентом, с которым говорил маленьким мальчиком, потому что так говорили у меня в семье, но поскольку я хотел стать актером, мне пришлось от него избавиться. Так что этот Львов во мне есть — и в то же время его нет. С одной стороны, я хотел бы туда поехать и посмотреть, где я родился, увидеть улицы, на которых мы жили, и, может быть, когда-нибудь случайно поеду, но пока я об этом не думаю.

Львов связан в моей памяти с Гливице, связан поездом,

эшелоном, состоящим из вагонов для перевозки скота. Это был один из последних эшелонов.

Гливице! Там все началось. Началось с травли вшей. Мать рассказывала, что только чудом не началась какая-нибудь эпидемия. Гливице не был разрушен. Я помню еще не разграбленные магазины, кафе... Я с ностальгией думаю о Силезии, особенно о Гливице, ведь, в принципе, это и есть мой родной город, здесь началась моя жизнь — мне же было 4 года. Я вспоминаю комментарии моей матери о силезцах. Силезцы были для матери чем-то худшим, чем-то таким чуждым, непонятно, в общем-то, почему. Может быть, она считала их немцами или полунемцами. Если бы мать узнала, что моя жена из силезцев, вот был бы ей сюрприз. Но, может быть, я потому и женился, что хотел уравновесить это ничем не обоснованное неприятие. Мы поселились на улице Арконской, которая существует до сих пор, в доме, где когда-то жили рабочие. Рабочие-немцы, конечно, так что это были дома очень ухоженные, с садиками, палисадниками. Я помню эти дверные коробки, лестничные клетки, ручки, все это... Конечно, потом переселенцы с востока все это изуродовали до неузнаваемости. А эти чудесные садики... Впрочем, у отца был участок земли, и Гливице для меня — это еще и запах укропа, помидоров. Отец очень любил работать в саду — это передалось моему старшему брату. Я совсем не люблю землю, меня это не интересует, но этот садик я помню потому, что мама там целыми днями загорала. Она сохранила такой довоенный стиль: не представляла себе, как можно выйти на улицу без шляпки, без клипсов и без перчаток. Помню, на улице Бытомской была модистка, которая шила матери шляпки на заказ. Мать сохранила стиль, не принимая во внимание, что пришли другие времена — никаких галстуков и шляпок, только резиновые сапоги — и за работу, строить социализм. Мои родители вообще не могли с этим смириться. К счастью, в нашем доме жила одна интеллигенция, например, мой самый старинный друг — Адам Загаевский, который жил над нами. Он ужасно громко топал, так что тряслась лампа, а я играл в доктора с его старшей сестрой. Я был доктором. Адашь до сих пор вспоминает, что я с ней вытворял. Был пан Йотко — химик, была чета Энгель, я дружил с их детьми, семья Робаковских, профессор Завадский с Дидей, с которой я тоже дружил. Все — сотрудники Политеха. Приходил пан Козак — инженер — и делал нам мыло, приходил пан Саняж, сторож одного из львовских особняков, и свеживал нам кроликов, потому что в саду были кролики, но никто к ним не прикасался, кроме него. Приходили прачки и стирали, потому что тогда ведь не было стиральных машин. Приходила каждый день баба и приносила свежее молоко и сметану. Делались также заготовки на зиму —

у нас была огромная кладовка. Я всегда ждал этого момента. Я обожал осень и квашение капусты. Приходила баба, а потом уже мои братья шинковали капусту, а я давил ее ногами. Та-кая большая бочка ставилась в кладовку, и эта кислая капуста была до самой весны. Была газовая плита, но была и угольная, и я помню этот запах. Я участвовал в домашней жизни, потому что мне приходилось чистить и скрести картошку, что я ненавидел. Мои друзья играли, а я должен был чистить эту картошку. Мать не признавала больших картофелин, покупала только мелкую, такие орешки, которые было ужасно трудно чистить, поэтому я выкидывал каждую вторую картофелину. Мать не могла понять, почему картошки так мало, и велела покупать больше. Она больше покупала — я больше выкидывал. Она увидела однажды, как я выкидываю их с балкона, и заставила меня спуститься вниз во двор, собрать картофелины и почистить заново. Такие темные стороны моего силезского детства. Мать продолжила в Гливице и артистическую, оперную тему и впервые привела меня в театр — это была Силезская оперетта, где я увидел свой первый спектакль — «Королеву чардаша». В главной роли выступала Марта Артыкевич, и я, конечно, тут же в нее влюбился. Помню, мы сидели в ложе с левой стороны, глядя на сцену. В Оперетту я стал ходить на первые симфонические концерты и первые спектакли Силезского театра, который приезжал на гастроли. Я помню Густава Холубека во многих спектаклях, например, в «Мазепе». Так что благодаря матери у меня сразу, с детства был контакт с театром.

Одной из моих первых книжек была «Наука шахматной игры». Мой отец играл в шахматы и начал учить меня, когда мне было шесть лет. У меня есть и отцовские шахматы из Львова, только не с кем особенно играть, есть и эта книга. Я не представляю себе жизни без книг. Как я говорю, кухня без готовки или дом без книг — мертвы. Конечно, мать, будучи несостоявшейся художницей, пыталась привить мне и живописную жилку, но это, к сожалению, не удалось, потому что я просто-напросто очень неспособный человек. Мой брат Антоний рисовал, у меня есть его картины, да он и учился в Академии художеств в Кракове. Для меня очень важен цвет, если речь идет об интерьере, я уделяю этому большое внимание и люблю живопись, у меня много современных картин, но сам я этого не умею. Так что мать довольно быстро бросила эту затею. Гливице! Там все зародилось. Там я пережил и очень сложные моменты, потому что был еще ребенком, когда умер мой отец. Можно сказать, что от тоски по Львову, но еще и потому, что его уволили с работы, поскольку он не хотел вступать в партию. Он был тогда директором завода по производству сажи, приближался пенсионный возраст, и его выставили. Он упал

духом. Настолько, что хотел совершить самоубийство, но ему не удалось, потому что в тот самый момент у него случился инсульт. Видимо, он настолько переживал. Его парализованного отвезли в больницу, и через несколько дней он умер. Я помню такую картину: я увидел тапочки отца под кроватью, на которой был уже только голый матрас. Это был очень важный момент в моей жизни, потому что тот мир детства закончился. В принципе, тогда началась моя настоящая, взрослая жизнь, потому что я остался один с матерью без средств к существованию. Моя мать никогда в жизни не работала. Братья уже вышли из дома. Один был в армии, другой учился в Кракове. Никаких средств. Мать работу найти не могла. Меня не взяли в лицей в Гливице — не потому, что я был плохим учеником, а потому, что, якобы, плохо себя вел. Возникло еще одно препятствие, которое предстояло преодолеть. Отец умер тогда, когда такому мальчику, как я, он был больше всего необходим. Мать отпускает из-под своего крыла, и отец должен сделать из мальчика мужчину — направить его интеллектуально, показать ему мир, мужской мир, как надо жить и т.п. Мне не досталось этого примера, образца. Меня не взяли в лицей, и такая моя любовь, Ханя Беднарек, очаровательная девушка, уехала, потому что тогда оставшиеся силезцы еще могли покинуть Силезию. Это была, конечно, платоническая любовь, но тогда я почувствовал себя совершенно одиноким на этом свете. Это был, наверное, самый сложный период в моей жизни, он требовал от меня, юноши, очень важных решений. Я был так удручен, что хотел свести счеты с жизнью. С матерью у меня не было взаимопонимания, потому что она была занята собой. Я ходил к соседке, чтобы одолжить яйцо. Помню, что мои кулинарные таланты зародились именно тогда, когда... У меня перед глазами эта картина, которая ассоциируется с фильмом Чаплина «Малыш»: нищета полнейшая, нет денег на уголь, надо экономить, в окнах сквозняк... вообще-то сложно себе это представить, и я говорю: «Мама, что у нас на ужин?», а мама говорит: «На ужин ничего нет». А я говорю: «У меня есть идея». У нас было всего два-три злотых, так что я побежал на Бытомскую, там был рыбный магазин, и купил соленой селедки из бочки. Потом пошел к соседке, одолжил яйцо... дома еще была мука или панировочные сухари, какой-то жир — уже не помню, но я обвалял эту селедку, как шницель, и пожарил. Приготовил какие-то две тарелки и кричу: «мама, готово!». Запах был чудесный, но, как можно догадаться, есть это было нельзя, потому что это была жареная соленая бочковая селедка. Оставалось только выбросить. До конца жизни этого не забуду. Я чувствовал такое унижение от того, что не попал в лицей, что решил пойти в армию, в кадетское училище. Написал какое-то

письмо в Варшаву, но, к сожалению, набор был окончен. Мне сказали, что, если я так люблю армию, то могу просто поступить в военный оркестр. В Гливице был военный оркестр — Танковый полк 2719; я попросил у матери разрешения и в октябре пошел, помню, пешком в эту армию. Это были немецкие бараки, где мой брат был тогда подпоручиком. Меня приняли. Но эта армия... когда я в первый раз помылся холодной водой, то сразу же заработал ангину. Ну, гороховый суп... я начал курить, и язык, можно догадаться, какой. Мне приходилось мыть сортиры, и, спустя несколько месяцев, я понял, что такая жизнь не для меня.

Я провел в армии 22 месяца, одновременно посещая музыкальную школу, но не посещая среднюю, лицей, так что у меня был перерыв. Я хотел уйти из армии, и сержант Конечный — я помню его фамилию — сказал: «Это тебе не кафе, чтобы туда-сюда ходить. Мать заплатит за все твоё пребывание здесь». Поэтому я делал все, чтобы они сами меня выгнали, и меня выгнали в День Победы, 8 мая. Я вышел на свободу и был уже другим человеком. Надо было чем-то заниматься, и я стал играть на кларнете, и, конечно, на малом барабане. Я хотел поступить в музыкальный лицей в Бытоме на кларнет, но мне сказали: «нет, только на гобой». Так я стал ходить в музыкальный лицей, немного с опозданием. Каждый день ездил из Гливице, вставал в шесть утра, и однажды — это, может быть, тоже повлияло на то, что я стал актером — мой педагог, Ортель, первый гобоист в бытомской опере (видимо, он решил, что я способный), сказал: «Слушай, кажется, освобождается место, может, давай к нам на второй гобой». И тут я увидел свою жизнь в оркестровой яме и подумал: «О, нет!». Я взял гобой — его мне одолжила школа — и пошел к моему любимому директору, Боровскому, которого я обожал. «Зачем ты ко мне пришел?» — спрашивает он. А я: «Отдать гобой». «Почему?». «Потому что я стану актером». «Нет, ты скорее женишься, чем станешь актером». «Нет», — сказал я и отдал этот гобой. Я вернулся в Гливице и там прочитал объявление, что любительский театр ищет кандидатов — «Театр веселых вагантов». Я пошел, и меня сразу туда взяли. Это был такой любительский театр, где мы выступали только в масках — такая комедия дель арте, но на что-то надо было жить, и надо было дальше учиться, у меня была в этом потребность. Я стал ходить в вечерний лицей для работающих и устроился лаборантом на кафедру железобетонного строительства у профессора Кауфмана. Я не разбирался ни в чем совершенно, ходил с тряпкой и мелом, подавая его профессору, но это было очень приятно, потому что мне за это платили. Я сам зарабатывал себе на жизнь! Я начал играть на саксофоне. С моим другом, режиссером Анджеем Баранским,

мы создали студенческий театр «Степ» при Силезском политехническом институте.

Я был беден как церковная мышь. Денег у нас не было. Мать работала на какой-то стройке на административной должности, потом, тоже с бумагами, — в больнице. У нее была своя жизнь, у меня — своя. Мы плохо понимали друг друга. У матери был невероятно сильный характер, и она пыталась сломить меня, но я бунтовал и не поддался. В принципе, я делал, что хотел. Мать всегда говорила: «Из тебя никогда ничего не получится». Думаю, будь я слабее, это могло бы плохо кончиться. Вообще, будь я слабее, я бы не оправился и от армии, но я всегда говорю: «Как хорошо что-то пережить!» С малых лет я переживал такие вещи, которые позволили мне видеть хорошее в плохом, то есть плохой опыт дает человеку возможность увидеть что-то хорошее, и, если я что-то хорошее в жизни сделал, если что-то понимаю в людях, так это благодаря тому, что в детстве пережил такие трудные, такие тяжелые времена. Но это было и прекрасное время, потому что тогда я познакомился с Тадеушем Ружевицем. Можно сказать, он был моим духовным отцом. Он был близким другом и покровителем нашего студенческого театра. Разговоры с ним — это та основа, которую он мне дал, потому что я все еще искал отца, которого был лишен. Но все было не так просто, потому что я еще ходил на парусной яхте, ездил на Мазуры, в том числе, как снабженец, чтобы заработать. Потом поехал в Лиготу, закончил там летные курсы, начал летать на парашуте. То я играл джаз, то писал стихи, то играл в театре и все не мог решить, что мне делать в жизни. Ну, и постепенно пришел к выводу, что джазовым музыкантом я вряд ли стану, но пилотом мог бы. Это до сих пор моя страсть. Парусный спорт я бросил из-за того, что жена не плавает, не любит воды, не разделяет моей радости, так что и мне он уже не доставляет такого удовольствия.

В какой-то момент я все-таки решил поступать в театральный, и все бы ничего, если бы не то, что я провалил экзамены на аттестат зрелости. Правду сказать, учеба меня не слишком интересовала, я часто пропускал вечерние занятия из-за репетиций и спектаклей, ну, и один из учителей прочитал где-то в гливицкой газете — кажется, «Новины гливицке» — какую-то рецензию, что Пшоняк что-то где-то играет... такую короткую заметку. И сказал: «Ну, посмотрим, как-то он сыграет на экзаменах?». И завалил меня на географии. Спросил, как образуются дюны, и завалил. Я сдал математику, сдал физику и срезался на географии. Это был ужас, потому что мне снова грозила армия. В конце концов все-таки в октябре я пересдал, и так получилось, что мне удалось поехать в Краков и начать следующий этап.

Краков! Я приехал в Краков учиться, как будто попал в рай. Тем более, что там жил мой брат, и у меня появился близкий человек. Я был счастлив, что могу начать учиться, по-настоящему учиться. Я знал, что это мое место, что искусство театра, театр — это мое. Я пошел туда не от нечего делать, а почувствовал, что там я смогу что-то сказать, смогу реализоваться, и, прежде всего, что там я буду счастлив, а я уверен, что если человек счастлив в том, чем занимается, то он может сделать счастливыми других.

У меня были прекрасные учителя, еще старого поколения. Театр в Польше — это одна из немногих институций, где сохранилась преемственность. Церковь и театр, искусство вообще. Они говорили о довоенных актерах, театрах. Краков — это идеальное место для учебы, и я серьезно за нее взялся. В принципе, можно сказать, что я четыре года ничем, кроме учебы, не занимался. Я был членом Кружка молодых литераторов на Крупничей — вместе с Эвой Липской, со Спрусинским. Его тогда вел Адам Влодек. Я писал стихи. Был счастливым человеком. Мои товарищи, уезжая учиться, обретали свободу, потому что все время были с родителями, а я эту свободу уже пережил, повзрослев в 15 лет. Я был намного старше своих ровесников, поэтому, когда поступил в институт, хотел компенсировать то, чего был лишен раньше. Поэтому я очень серьезно относился ко всем занятиям. Ходил также в Старый театр смотреть на товарищей. Могу сказать, что это был один из лучших периодов моей жизни. Я был на одном курсе с Ольгердом Лукашевичем, Кшиштофом Ясинским, мы были фанатами учебы, это было такое романтическое, идеалистическое место, где человек действительно мог себя реализовать.

Мне повезло, что директором Старого театра был Зигмунт Хюбнер, который пришел и сам меня пригласил. Было приятно, что мне не пришлось напрашиваться. Мой брат уже был в труппе Старого театра, даже играл главные роли. Режиссером там был Конрад Свинарский. Так получилось, что я поступил в этот театр и одновременно стал ассистентом в институте. Я люблю делиться своими впечатлениями о том, что переживаю в искусстве, люблю обмениваться мнениями, вообще люблю разговаривать. Я счастлив, что стал актером, потому что, на самом деле, актер рассказывает, делится, живет вместе с другими, хотя иногда я и думаю, что хотел бы быть писателем или художником, потому что тогда я бы ни от кого не зависел в своем искусстве. Актер все-таки зависит от коллег, с которыми не всегда согласен, не всегда разделяет их взгляды на жизнь, на искусство — а это крайне существенно. Я не отделяю своей жизни от искусства. Это все связано, по-другому я себе этого не представляю; иначе я не вижу смысла быть актером.

В Старом театре я встретил как бы своего второго отца — Конрада Свинарского, у которого я сразу сыграл небольшие роли в двух пьесах Выспянского — «Проклятье» и «Судьи». Эта встреча была чрезвычайно важна для меня, потому что молодой человек предчувствует разные вещи. Не умеет формулировать, не умеет назвать, но чувствует. Сейчас я уже знаю, что каждая встреча молодого человека продолжается в нем уже потом, когда он повзрослеет. Конрад Свинарский, с которым мы очень подружились, подтвердил мои предчувствия относительно многих вещей. Это был великий режиссер, но его величие состояло в редкой способности совмещать, как он говорил, «верх и низ», то есть интеллект и чувственность. Он был человеком очень чувственным, ощущал мир, а с другой стороны, обладал аналитическим мышлением. Мы часами разговаривали о жизни. Говоря о пьесе Шекспира, мы говорили о жизни, и это было что-то феноменальное. Благодаря Свинарскому произошла очень важная для меня встреча, а именно встреча с Анджеем Вайдой. Я начал играть главные роли в Старом театре и сыграл у Анджея Вайды в «Бесах» Петра Верховенского. Это была моя первая встреча с Анджеем Вайдой, которая повлияла потом на другие роли, уже в Варшаве, в «Земле обетованной» и др. Старый театр был для меня окончанием молодости, юности, концом этих ужасных поисков себя, этих метаний, и краковский период стал моей базой, с которой я мог идти дальше в мир. Что еще для меня очень важно — это то, что нашим частым зрителем был Кароль Войтыла, и я был очень взволнован, когда во время военного положения мы летели на примерку костюмов в Рим, кстати, с Богуславом Линдой, и в самолете я встретил секретаря епископата. Я сказал, что не могу упустить такую возможность, что мы бы хотели увидеть Папу, быть на общей аудиенции. Он ответил «хорошо» — это был епископ Домбровский. Мы оказались в одном из рядов, и нам сказали, что Папа к нам подойдет. Так и случилось, и я был очень счастлив, что могу стоять рядом с Папой, а он посмотрел на меня и спросил: «Что это вы здесь делаете?». Вспомнил меня по театру. Впрочем, моя педагог по сценической речи — Михаловская — была приятельницей Папы в театре «Рапсодичный». Халина Квятковская, которая учила меня пению, была ее подругой из Вадовице, они начинали вместе. Без Кракова я наверняка был бы другим актером, и из Кракова я, на самом деле, до сих пор не переехал. У меня есть и дом в моем любимом городке Ланцкорона. Без той базы, без того багажа, который я получил в Кракове, в Варшаве мне было бы не так легко жить. Все-таки это другой мир, где без сильного «эго» и без, если можно так выразиться, хребта можно погибнуть. По крайней мере, так мне кажется.

Может быть, я потому стал актером, что актерство — это вечное приключение. Конечно, можно всю жизнь провести в одном театре, приходить туда, как в офис, и быть счастливым. В моем случае это невозможно, поэтому, когда Ханушкевич пригласил меня в театр «Народовый», я согласился. Впрочем, возможно, я не подался бы в Варшаву, если бы Зигмунт Хюбнер оставался директором Старого театра, но после 68-го года его уволили. Это был человек, который обожал Старый театр, держал его на уровне после Владислава Кшеминского, позвал Конрада Свинарского, Анджея Вайду позвал, так что для театра это были самые прекрасные, можно сказать, самые интересные времена. Но, поскольку меня ничто уже в Кракове не держало, я отправился в следующее приключение.

Варшава. Мой первый спектакль там был «Макбет» Адама Ханушкевича, и я играл главную роль. Это был для меня шок, потому что я привык к совершенно другому типу театрального мышления, к другому методу работы, к другому театру, а здесь напоролся на неслабую мину, на Ханушкевича, который работал совершенно иначе. Я совсем не понимал его, а он не знал, в чем дело со мной. Я был готов к медленному анализу, к постепенному вниканию в текст, а у Ханушкевича был скорее метод интуитивной импровизации, и закончилось все это скверно. Я считаю, что это был очень плохой спектакль, и я в нем был ужасен. Наверное, это был единственный случай, когда я не мог выйти на сцену. У меня было чувство, что это самое тяжелое занятие на свете, и что напрасно я стал актером.

Вообще-то я не жалею, что стал им, но это был момент, когда мне казалось, что я сыграл 400 раз, а на самом деле я сыграл всего раз 18. Потом была следующая роль в театре «Народовый» — Хлестаков, и тут наступило взаимопонимание; может быть, Адам Ханушкевич не работал до этого с таким типом актера. Я довольно бескомпромиссный, не делаю вид и не соглашаюсь на то, что мне говорят, мне надо самому пережить некоторые вещи, чтобы из этого что-то получилось. Иногда это очень тяжелый процесс, но по-другому я не могу.

Эта Варшава! Варшава — такой странный город. Я даже думал, что Варшава — это не город, а место. Город — это Краков, город — это Вроцлав, Познань. Это города. Париж, Лондон, Лозанна, Рим — вот это города. А Варшава мне кажется каким-то таким трагическим, болезненным местом, уничтоженным. Я живу в этом городе столько лет, а все ощущаю какое-то страдание. Это город, которому нет покоя. Город, который не отдыхает. Город, который мучается. Город нескладный, с какой стороны ни посмотри. Есть прекрасные фрагменты — парк Лазенки, например, это такие уцелевшие в той трагедии, которая прокатилась по городу, островки. Но в Варшаве есть что-то такое, что мне необходимо — сила, мощь, динамика, которой в

Кракове я не чувствовал. Может, потому, что в Кракове был «Погребок под Баранами», а в Варшаве было кабаре «Под Эгидой» с Янеком Петшаком, были «Гибриды», был СТС1. Варшава, я бы сказал, — это такой город повстанцев. Здесь нет той галицийской души, где все так сосредоточенно. Поэтому Краков остался таким, каким был, и энергия там такая, какая есть — там скорее диванчик, красный плюш, шторы и воспоминания, а Варшава — такой разбитый город, конечно, очень сложный, город с перебитым хребтом, и я это чувствую. Тем острее, что я знаю другие города мира, настоящие города. Сколько я ни приезжаю в Варшаву, я здесь никогда не гуляю, потому что негде гулять. Это не тот город, в котором можно оторваться от этого brutального мира. У меня такое впечатление, что Варшава — атакующий город, я бы так это описал. Город, в котором надо закрываться в себе, в своей квартире; закрыться и быть у себя дома. Город, пытающийся сейчас ожить в некоторых своих фрагментах, но это так сложно, и ужасно мне жалко, что столица Польши — это такой трагический, грустный город. Грустный, что не значит скучный — потому что Варшава не скучный город, а такой, в котором — я не говорю уже обо всех небольших памятниках и мемориальных досках с надписями «здесь расстреляно столько-то, а здесь столько-то», об этом я даже не говорю, — но, например, весь этот еврейский район... Я не мог бы там жить, мне бы все время казалось, что я живу на кладбище. Даже не на кладбище, где люди похоронены, а как будто это какая-то общая могила народа, который немцы хотели уничтожить.

Студенческий театр сатириков.

В Варшаве началась моя жизнь, такая настоящая, взрослая. Здесь я встретил мою жену, единственную жену. Я всегда просил Господа Бога, чтобы у меня была одна жена, и чтобы я не ошибся. Господь Бог меня услышал, и у меня замечательная жена. Она все время та же, так что я очень счастлив. Так сложилось, что директор Хюбнер принял руководство театром «Повсехный» в Варшаве, и таким образом мое краковское приключение продлилось. Я был первым актером, которому он позвонил и сказал: «Ты пришел бы ко мне в театр?». А я: «Не раздумывая». Краков продолжился, так сказать, вдвойне, потому что первым спектаклем на открытии театра «Повсехный», который придумал Хюбнер, было «Дело Дантона» Станиславы Пшибышевской в постановке Анджея Вайды, со сценографией Кристины Захватович. Я сыграл Робеспьера. Видно, как все это цепляется одно за другое. Зигмунт Хюбнер, который был деканом факультета режиссуры Высшей государственной театральной школы, предложил мне должность ассистента. Меня это всегда интересовало, я всегда

задумывался о том, что значит быть режиссером. Эта работа была для меня очень важна; к сожалению, я был невероятно занят, хотя был и остаюсь актером, тщательно выбирающим роли. Я очень разборчив; не допускаю вещей, в которые не верю, через которые не могу поговорить со зрителем, не могу выразить себя, достучаться до человека, или просто таких, где нет ничего интересного.

Когда я вел занятия в Театральной школе на ул. Медовой, там был один очень волнительный момент, когда я узнал, что Кароль Войтыла стал Папой. Как раз во время занятия колокола начали ужасно звонить, так что я попросил студентов закрыть окна, но тут зашел Эрвин Аксер и шепнул мне на ухо: «Кажется, Кароля Войтылу выбрали Папой... а может, это сплетни». И вышел. А студенты меня спрашивают, что случилось. Я говорю: «Кажется, Войтыла избран Папой». И что оказалось — они не знали, кто такой Войтыла. Я знал его как зрителя, который регулярно ходил на спектакли Старого театра. Он был фигурой необычайно популярной, известной и уже тогда необычайно важной. Я думаю, что у нас у всех был шок, потому что мы поняли, какое значение это имеет для Польши. Очень важным местом для меня, где я чувствовал себя просто фантастически, было кабаре «Под Эгидой» Янека Петшака. Я обожаю, очень люблю кабаре, потому что это такое место, где можно валять дурака. На каждом вечере был какой-нибудь доносчик, цензура. Что цензура вырезала у меня из текста, то я импровизировал жестами, но не переходя границы запрещенного. Впрочем, публика, которая приходила, понимала все из контекста. Было взаимопонимание, это были такие места, которые нас объединяли. Выступавшие чувствовали себя счастливыми. Сегодня ситуация другая, и слава Богу, но тогда у актеров было ощущение какой-то миссии. Миссионерская роль театра закончилась; сегодня надо обращать внимание людей на другие вещи, но тогда в этом был политический аспект. Я помню, как мы играли «Дело Дантона». Было вовсе не очевидно, что нам позволят это играть, особенно в постановке Вайды, и помню, как реагировали люди, как прочитывали подтексты этой пьесы. Потом, когда я уехал на Запад, мне уже никогда не приходилось переживать такого, ощущать этот вкус.

Так что Варшава стала моим городом. Я держусь за эти ниточки — может быть, кроме Львова. Со Львовом меня ничто не связывает, но с Гливице связывают друзья, могилы родителей — я езжу туда, держусь за это. С Краковом меня тоже соединяют дружба, но еще и мой дом под Краковом, так что Краков я тоже навещаю, не отпускаю эту нить. А в Варшаве я живу, но когда живу в Париже, то тоже чувствую, что держу варшавскую ниточку, потому что здесь семья моей жены, коллеги. В Варшаве состоялись также мои очень важные роли

— мой любимый Мориц Вельт из «Земли обетованной», здесь я сыграл Робеспьера, сыграл существенные, значимые роли, которые остались у меня в сердце, которых я не стыжусь, в которых я не обманывал ни себя, ни зрителя. Конечно, эти роли чрезвычайно сильно повлияли на мою дальнейшую жизнь, просто потому, что благодаря этим ролям в фильмах Вайды обо мне узнали на Западе. Может быть, именно поэтому я получил предложение из Парижа — это был 1977 год — сыграть одну из главных ролей в пьесе Петера Хандке «Рассудительные люди на грани исчезновения», в том числе, с Жераром Депардьё и другими актерами, которые впоследствии стали известными. Это было за два года до премьеры спектакля, поэтому я подумал — почему нет? — не зная французского языка. Но я был здесь так счастлив, играя в театре, в кабаре, снимаясь в кино, обставляя квартиру, имея чудесную жену. Я был по-настоящему счастлив. Поэтому я отнесся к этому предложению свободно — может, поеду, может, нет. И настал такой момент в моей психике, когда я понял, что, может, я и хороший актер и могу создать роль, персонажа, но у меня такой характер и натура, которые для этого занятия не годятся, по крайней мере, в польской действительности. А именно — у меня есть потребность в свободе, то есть, в выборе своей судьбы. Поэтому я не смог бы, наверное, работать в офисе или в корпорации, меня бы это парализовало. Я должен сам открывать мир и хочу его открывать.

Париж. Начался французский этап — здесь у меня была возможность развивать свои кулинарные, гурманские склонности, и признаюсь честно, мой французский начался с языка кухни. Я ходил по магазинам, за покупками, смотрел на разные продукты, что как называется — как печенка, как потроха, как шейка, как отбивная, и так далее, и так далее, не говоря уже про рыбу. Я это любил, так что мне это легко давалось. Тогда я жил в центре на улице Сен-Мишель, и случилось так, что я встретил великого французского писателя, с которым познакомился еще в Варшаве, в кабаре «Под Эгидой», — так снова пересекаются мои варшавская и парижская жизни — известного писателя Ромэна Гари, который, кстати, первые свои произведения начал писать в Польше, убегая с матерью из Москвы. Он узнал, что я в Париже, решил меня разыскать и предложил мне часть своей квартиры на Рю-де-Бак. Кто знает Париж, поймет, что это для меня значило, потому что это одно из самых красивых и самых дорогих мест Парижа, Латинский квартал, около Сен-Жермен-де-Пре, что-то невероятное. У нас были напряженные репетиции, потому что там люди выкладываются по полной, и там я по-настоящему научился тяжело работать как актер. В Польше актеры работают четыре часа, а там — по десять часов.

Я никогда бы не подумал, что сыграю когда-нибудь на иностранном языке, так что это был опыт. Совершенно потрясающий опыт. Это дало мне второе дыхание, потому что, честно признаться, я со страхом отказывался от места в театре «Повсехный». Я тоже привык к теплоте социалистическом одеяльцу.

Я вернулся в Париж во время военного положения, чтобы сниматься в «Дантоне», потому что военные власти не разрешили снимать в Польше, хотя Вайда очень хотел. Так сложилось, что когда я поехал на съемки в Париж, мне начали поступать разные предложения. Одна роль в фильме, потом другая. Мне не пришлось делать черную работу и работать нелегально, и Париж начал меня увлекать. Увлекать также и с польской точки зрения — там мы познакомились с паллотинцами, это было место встреч всей Полонии, причем Полонии не случайной, Полонии Еленского, Ежи Гедройца, Брандысов, Паулины и Анджея Ватов, Милоша. Приезжали Артур Мендзыжецкий с Юлией Хартвиг. Это была интеллектуальная жизнь. Еще раньше я познакомился с Роландом Топором, Романом Цесевичем, со многими французскими художниками, актерами, потому что там все в движении. Я поселился на Монмартре, на живописной улице, в прекрасной квартире, которую снимали друзья, и был счастлив, что могу спуститься вниз и купить круассан, потому что бывали сложные моменты, бывали моменты, когда не было денег. Представьте себе, я организовал там свою частную актерскую студию и стал работать. Мои студенты арендовали зал, и так это разрасталось, разрасталось, что я начал с ними работать по-настоящему. Тогда у меня особенно не было других дел, так что я мог этим заниматься, хотя это было не слишком просто — на французском. Я стал просить их исправлять мои ошибки. Учился. Это было замечательное время, но в какой-то момент мне пришлось от этого отказаться, потому что начали поступать предложения. У меня всегда была дилемма: не потеряю ли я чего-нибудь, избрав более выгодное предложение. Когда меня сегодня спрашивают молодые люди, на что ориентироваться, я говорю, что надо руководствоваться принципами, то есть, смотреть, что это даст в целом: что я сейчас заработаю, чем это обернется впоследствии. Мне кажется, я как-то выкрутился, даже решил, что не стану играть ничего, с чем не согласен.

Я попал в очень хорошее агентство благодаря Жерару Депардье, который, когда мы снимались в «Дантоне», спросил, есть ли у меня агент. «Нет» — сказал я, и он позвонил своему другу, руководившему агентством «Арс Медиа», где были крупнейшие звезды от Катрин Денев до Ива Монтана и Софии Марсо, и так далее — в общем, и я туда попал. Это было крайне

важно, что я был в «Арс Медиа», потому что там были также сценаристы и режиссеры, и там я начал сниматься в кино. Мой первый серьезный успех — это фильм «Годы сэндвичей» режиссера Пьера Бутрона. Я сыграл главную роль. Фильм имел невероятный успех. У меня есть фотография, как на Елисейских полях стоят очереди в кинотеатр, очередь перед кинотеатром на Сен-Жермен тоже. Это открыло мне дорогу к определенному роду ролей, потому что я ведь играл с акцентом — это не подлежит сомнению, но, как оказалось, можно играть с акцентом. Видимо, у меня такой акцент, который не мешает, не раздражает.

Это моя счастливая фотография — тут французская кухня, тут поляки... Я забыл назвать еще Юзефа Чапского, он был замечательный... Так что это была прекрасная жизнь. Париж сегодня уже другой, когда мы с женой сидим и думаем, сколько людей здесь умерло, это ужасно грустно.

Но этот Париж остался моим Парижем. Париж — мой город; здесь у меня есть свои улицы, свои мясники, свои рестораны, своя публика. Я бы сказал, что Париж — это город, который я получил в награду, потому что потерял Львов. Этот город у меня уже никто не отнимет, как отняли Львов у моей семьи и других львовян большевики. В этом городе я хорошо себя чувствую, это мой город; несмотря на то, что я чувствую себя поляком, польским актером, который играет в Париже, все-таки это уже мой город.

Я рад, что могу жить, работать в таких прекрасных городах за границей, а с другой стороны, сердце болит от того, что я никому не могу там объяснить, что эта пепельница, которая у меня осталась, и стульчик из Львова, и эта отцовская лампа с рабочего стола, и эти два дагерротипа прадеда и прабабки — что все это для меня такая ценность. Так что это счастье немного... сквозь слезы.

*Записала в 2004 году Эва Стоцкая-Калиновская
Расшифровала и подготовила Богумила Пшондка*

Выписки из культурной периодики

Уже довольно долго в Польше ведется дискуссия на тему элит — политических, медийных, культурных — и их роли в формировании общественных позиций. Со стороны кругов, связанных с нынешним лагерем власти, руководимым Ярославом Качинским, требование «сменить элиты» высказывается и постоянно форсируется давно. В такого рода призывах нет ничего нового: они сопутствовали установлению в Польше коммунистической системы, возникли вновь с введением военного положения в 1982 году. Создание «новых элит» происходит (если это не тот случай, когда элиты кристаллизуются в естественном процессе конкуренции) их назначением таковыми и лишением слова тех, кого считают, как это определил в свое время один из политиков «Права и справедливости», «лжеэлитами». Такую операцию легче осуществить в авторитарных системах, труднее — при демократии, при которой лишить слова сложнее. Зато во втором случае можно предпринять попытку утверждения собственных элит созданием им условий для экспансии — например, посредством приватизации общественных СМИ, что, собственно, в Польше и имеет место. Установление контроля над общественным радио и телевидением проводится наречением их «национальными информационными ресурсами», а это должно наверняка навести на мысль, что остальные «национальными» не являются. Или, например, можно создать альтернативную сеть журналов, распространяемых по демпинговым ценам (поддерживающие Пис еженедельники «До Жечи» и «вСети» продаются по 5,90 злотых, а «Политика» стоит 6,90 злотых, «Тыгодник повсехный» — 7,90), — и это только первые пришедшие на ум примеры той самой механики устранения конкуренции. Принципы демократии ничем не нарушаются, но любая власть всегда имеет возможность с помощью правовых манипуляций ограничить, абсолютно законным путем, свободу слова (во имя борьбы с терроризмом или под иным предлогом). Конечно, она не обязана такой возможностью воспользоваться, но у нее в этом отношении развязаны руки.

В принципе, можно сказать, что сегодня в Польше мы имеем дело с двумя лагерями: первый — это близкие власти традиционалисты, вторых же можно определить как западников. В первом случае это защитники традиционной национальной идентичности и максимального государственного суверенитета, во втором — приверженцы модернизации, которые не относятся к идентичности как к чему-то раз и навсегда данному в неизменной форме и открыты к интеграционным процессам с остальными странами Европы.

Выдающийся (раз уж награжден президентом высшим польским орденом Белого Орла) представитель традиционалистов, прозаик и публицист Бронислав Вильдштейн опубликовал на страницах еженедельника «вСети» (№ 23/2016) статью «Цивилизованные и дикари», в которой пишет: «Современные масс-медиа — один из главных центров культурно-политической революции, которая уже не одно десятилетие уничтожает цивилизацию Запада. Это современная, бескровная революция, которая пользуется преимущественно методами общественно-группового давления и создаваемой шаг за шагом новой правовой системой. Определение „революция” по отношению к процессу, который длится несколько десятков лет, оправдано фундаментальным характером перемен, составляющих ее цель. Она должна принципиально перестроить цивилизационный уклад Запада, поэтому ничего удивительного, что своими творцами была названа „контркультурой”. На самом деле у новой идеологии нет ни одной священной книги типа „Капитала” или „Майн кампф”, это конгломерат рассредоточенных по разным текстам манифестов целой констелляции групп — феминистских, геевских, европеистских или экологических, которыми, тем не менее, создается общий проект утопического характера. Позиции его глашатаев типичны для революционной ментальности: все может быть оправдано ради „эмансипации” человека от какой бы то ни было идентичности. На Западе такого типа намерения пропагандируются экстремистскими, но все более влиятельными группировками. Однако широкое движение в их поддержку ограничивается пока еще действующими там культурными нормами. Это наблюдается и в масс-медиа, которые (хотя и не остаются беспристрастными) стараются демонстративно не нарушать определенные правила. <...> Все же каких-то журналистских принципов представители этой корпорации должны придерживаться. У себя. На Польшу эти принципы, похоже, не распространяются. Другое дело, что в

будущем эта практика, вероятно, инфицирует западные масс-медиа без остатка».

Диагноз, который Вильдштейн ставит Западу, новым не назовешь. Как минимум, со времен Французской революции в Западе видели источник распада и скверны. Да и совсем недавно, в коммунистические времена, нам скармливали пропагандистское варево о «гнилом Западе», которому противопоставляли «единственно верный», здоровый духом марксизм-ленинизм. На вопрос, почему проявлениями этой гнили стали сегодня такие явления, как феминизм, экологические движения и «европеисты», я бы затруднился ответить, но у Вильдштейна, конечно, есть готовое толкование. Мне, например, не кажется чем-то безнравственным, что в рамках деятельности экологических групп ведется сейчас борьба против раскорчевки уникальной территории в Беловежской пуще. Тем более не кажется несущим угрозу христианским ценностям, о которых могут до упаду препираться католики с православными, а последние, насколько я знаю, за истинных христиан католиков не считают и, несомненно, в «римской ереси» уже давно высмотрели симптом вышеупомянутого загнивания Запада.

Одна из тех ценностей, которые, по мнению охранительных кругов, находятся под угрозой из-за подрывной деятельности Запада, это суверенитет. Так что далеко не случайно, что осуществляющее власть большинство польского парламента приняло решение о том, что Польша — страна независимая. Этот вопрос стал предметом обширной статьи Лукаша Вуйцика «Оргия суверенитета», опубликованной в «Политике» (№ 25/2016). Автор пишет: «В польском языке нет другого слова, которое сделало бы за последние месяцы такую карьеру. Несколько подзабытое в течение ряда лет, а иных даже повергавшее в смущение, оно сегодня не сходит с уст политиков «Права и справедливости». Премьер Беата Шидло в знаменитой речи в Сейме 20 мая в течение 23 минут слово „суверенитет“ употребила 20 раз, пытаясь упредить критический отзыв Еврокомиссии по вопросу о законности в Польше. И председатель Ярослав Качинский ни в одном из своих интервью не пропустит этого слова-заклинания. В интервью еженедельнику „До Жечи“ он недавно сказал: „Мы имеем дело с вмешательством в наши внутренние дела. И это серьезное вмешательство. Тем, кто часть жизни прожил в ПНР, это кое-что напоминает. Ибо суверенитет самоценен, это вопрос достоинства народа“. В ходе всей беседы слово „суверенитет“ прозвучало 11 раз». Дело, однако же, в том, что не нам было решать, должны ли мы жить в ПНР, а вот о

принадлежности к Европейскому союзу решение вынес суверен, то есть народ, на всеобщем и свободном референдуме. «Выписаться» из ПНР в тогдашних условиях мы не могли, а из Евросоюза — никто нам не запретит. Однако пока мы в нем состоим, то, как и другие его члены, от части суверенитета мы должны сознательно отказаться. Именно об этом пишет Л. Вуйцик: «Попытка Качинского внушить, что сегодня с суверенитетом у нас проблемы, как в ПНР, то есть что Европейский союз — это новый СССР, смехотворны. Польское правительство имеет полное право защищать свою точку зрения перед Еврокомиссией, но ставить под сомнение ее компетенцию в вопросе контроля над соблюдением законности — это курьез. <...> Нельзя говорить, что мы кому-то отдали суверенитет, он лишь делегирован, и это можно в любой момент изменить».

В статье очень точно подмечено, что правые политики в Польше базируются на взглядах немецкого юриста Карла Шмитта, приобретшего в последние годы в Польше немалую популярность, хотя его концепции столетней уже давности, представленные в таких трудах, как «Политическая теология», относятся, скорее, к археологическим объектам. И все же, как читаем в статье, «крайне правые, под знаменами суверенитета, сознательно или подсознательно черпая из Шмитта, пробуют сделать нормой чрезвычайное положение. В расшатанности либеральной политической системы, до чего чаще всего сами и доводят, правые видят обоснования для своих экстраординарных действий, вплоть до свержения этой системы. <...> Правящий лагерь в Польше <...> принципиально ошибается в отношении Карла Шмитта. Из его воззрений формируют инструментарий, словно бы это было неким собранием требований к действительности. Работы немецкого философа читают как политическую программу, готовую к реализации и гарантирующую победу на ближайших и последующих выборах. <...> Более того, если Шмитт пишет о щепотке решимости и нескольких каплях суровости, то Качинский полагает, что надобно всего этого набрать полной мерой — и тогда он достигнет своей цели быстрее. Ибо зачем ограничивать чрезвычайное положение, если его можно ввести навсегда? Мы ведь боремся за суверенитет, а кто не с нами — тот предатель».

Но дело в том, что та цель Качинского, о которой пишет Л. Вуйцик, остается, по крайней мере для меня, не очерченной. Ибо если этой целью является тот самый суровый суверенитет, то к ней можно приблизиться, только лишь покинув Европейский союз. Вместе с тем в недавнем выступлении

председателя Пис я услышал, что Польша должна быть в Европе, а быть в Европе — это значит быть в Евросоюзе. Увы, я не настолько мудр, чтобы это понять. Но, возможно, что-то разъяснит Славомир Сераковский, один из представителей распадающихся польских левых сил, интервью с которым, озаглавленное «Председатель может забетонировать Польшу», опубликовано в «Ньюсуик» (№ 25/2016). Реконструируя ход мышления Качинского, Сераковский говорит: «Ведь мы не для того возвратили суверенитет в войнах с Германией и Россией, чтобы отдавать его Брюсселю (которого Качинский, в общем-то, не знает). Историческая политика — это наши эмоции. Мы обиженная страна, преданная Западом. Наша сила должна вырастать из нашей гордости, достоинства, смелости — и зависеть исключительно от нас <...>, наши поражения — это моральные победы. Сто двадцать три года отсутствия на карте — ну и что, справились! Мы сумели выставить в Варшавском восстании горстку бойцов и гражданское население против нацистской армии, так что сумеем выйти на бой с любым, а победим или потерпим поражение — это не столь важно. Праздновать поражения мы умеем прекрасно. «Проклятые солдаты» или Смоленск объединяют лучше, чем общая работа или успех. Вот почему это столь важный инструмент политики Пис. Качинский не предается геополитическим размышлениям. <...> Он хочет быть председателем Польши. Таким вот мистическим, вне реальности, мессианским. Король-Дух Словацкого».

Самое скверное во всем этом, что невозможно понять: говорит ли Сераковский всерьез или импровизирует текст для кабаре. Скажу только, что люди, неуверенные в своей идентичности, все время ее выпячивают и все время указывают на все новые для нее угрозы, которыми становится все сколько-нибудь «не такое». И у меня складывается впечатление, что Бронислав Вильдштейн свою идентичность трактует как своего рода образец, долженствующий являть то, что он понимает под словами «цивилизационный уклад Запада». Быть может, он и прав.

Ежи Кронхольд

Стихотворения

Перевод Андрея Базилевского

* * *

Прости
я слишком быстро
ехал
по застроенной территории
вдруг выскочила
эта легавая
тормозить поздно
влетела прямо под радиатор
я видел в зеркале как она корчится
и не сказал тебе
было стыдно я же тогда
сбежал
да и бегу
от этого
по сей день

Я покинул тебя
Я покинул тебя до полудня
хотя клялся
что не покину
менял тормозные колодки
старые стерлись
обедал
думал о твоих почках
о твоих шрамах
водил по ним пальцами
брел по людному
коридору и видел как
на тебя упала ширма
это новая
дипломированная ярость
резко пихнула ее

говорят ты уходила крича
говорят уходя ты кричала

Паром

А когда ты действительно умерла
(несмотря на молитвы Деве и воду из Лурда)
тело сунули
в полиэтиленовый мешок
и раздался свист reissverschluss'a^[1]
а возле ведра с твоей
рвотой все еще плыл
пустой
надувной матрац
словно паром в никуда

Патент

Он прибыл издалека в американской полевой форме
пропахший табаком с песнями об уланах
с бритвой в футляре и россыпью шуток
увидев лоб иссечённый шрамами я почти поверил что он
будучи малолетним свидетелем бунта
попал под трамвай в Одессе
из Петербурга сбежал на море в Варшаве посещал
Захенту мог стать живописцем
играл в бридж с Мостицким с молодых ногтей усвоил светские
манеры
учтиво кланялся целовал ручки дамам катался на лыжах пока
всё не кончилось катастрофой
по инерции я поцеловал руку хмурому полковнику потом
ксендзу
после колядки (наверно меня сбила с толку ряса)
я смотрел на него с почтением но для меня больше значила
мама
ее ужасало бремя долгов и что все пойдёт с молотка
денди в штатском
с коллекцией галстуков и шляп
со стихами Пушкина в кожаном переплёте
уходя на войну он спесиво заверил уж теперь-то мы дадим им
под зад
таков был настрой в полку никакого пораженчества
его дворянский патент пергамент с девизом
все еще у меня перед глазами
на витой ленте
честь и отчизна
на фоне листьев аканта
понятия из другой эпохи
близнецы
Кастор и Поллукс

Улица Тяжести

Бесконечно пустая
взмыла вверх бумажным змеем
и улетела вместе с молельней
улица на которой
в детстве
забавлялся лошадкой-качалкой
Ричард Пайпс
после войны здесь поселился
модный адвокат
с портретом
кисти Виткация
украшавшим его коллекцию мазни
улица лишенная тяжести
легкая как гусиный пух
вчера она была затемнена
готова к атаке
летучих мышей к налету
Люфтваффе

Время когда цветут камни
Посмотри на высокие горы
вот величественный Альтфатер
любимец Гуссерля
патриарх среди вершин
цель осенних восхождений
ибо пришло время подняться над
близким отдалиться
забыть
красить палисадники
качать мед
сбрасывать желуди
время пыльной крапивы
тимьяна и мяты
рыжих ящериц диких пчёл
время исповедаться
ободранному почтовому ящику
который навещает только ветер
который штурмует Бог
время когда на дороге
цветут камни

1. Застёжка-молния (нем.).

Общность переживания

Новая книга Ежи Кронхольда, поэта, связанного с формацией Новой волны, дебютировавшей на рубеже 60-х – 70-х годов, вписывается в почтенную традицию поэтических трендов (плачей). В большинстве стихов первой части сборника «Прыжок в даль» («Попытки») запечатлен образ умершей, мгновения совместного бытия, знаки утраченной общности. В открывающем книгу стихотворении «Пара орхидей» в сцене интимной близости нежно и отстраненно звучит речь любовников:

в заброшенном карьере
я целовал тебя раздевал
а ты дарила мне названия: любка двулистная
дремлик ржаво-красный стагачка однолистная

Проблема поиска общего языка любви возвращается в стихотворении «Когда-то в начале»: «ты пыталась говорить со мной по-чешски/ по-английски/ на языке потёмок/ лицом к лицу». В памяти всплывают эпизоды и обрывки разговоров, банальные лишь с виду, как в заглавном тексте, который начинается с воспоминания: «Ожидая тебя/ пока ты была у зубного/ я забрел на закрытую/ школьную спортплощадку». Всё нацелено на воспроизведение интенсивной связи между любящими, уникальности того, что происходит между ними. В то же время это стихи о совместном переживании мира — давних событий, известных пишущему лишь из воспоминаний умершей (возникает потребность узнать имя девочки, с которой она играла в детстве), и того, что воспринято вместе, вплоть до последней минуты («Паром»). Последнее стихотворение цикла — «Письмо» — прекрасный поэтический гимн чувственности, соединяющей любовников:

Ты писала
говоря
со мной по телефону
это было очень нежно
очень близко
очень красиво
как
любовное письмо
с фонтаном

Признаюсь, «перевод» этого стихотворения на язык критики кажется грубым нарушением его поразительной автономии, однако нельзя не отметить: мы имеем дело с удивительным обновлением смысла старейшего поэтического «приема» — сравнения. Членение текста играет решающую роль в высвобождении энергии сравнения: слово «как», выделенное в отдельную строку, усиливает его.

Вторую часть сборника составляет цикл «Встреча старых друзей» — стихи о бренности и подведении жизненных итогов. Их достоинство, как и в предыдущих книгах Кронхольда, — чуткость к деталям, конкретность. Два стихотворения особенно обратили на себя мое внимание, поскольку — через обращение к опыту 1968 года — они подтверждают укорененность этой поэзии в поэтике Новой волны. Первое — «В ушах моих» — посвящено (а посвящения ныне редкость, в противоположность прежней практике) — Адаму Михнику. Политика тут вне поля зрения, речь о музыке 60-х: «В ушах моих царствовали джаз/ и Боб Дилан», возникает образ «трубы Херба Альперта» и даже песня «Желтые календари», — да, именно это слушали тогда в студенческих кругах. Вторая вещь — «Пани Формоза» — повествует о конспиративной встрече с поэтом Ежи Харасымовичем, который «жаждал контакта со смутьянами». Заглавная героиня, похоже, интересна автору, однако «что касается Формозы/ её я потерял из вида навсегда/ а Харасымович бежал в Мушину».

Мнимо-прозаизированные стихи автора «Самосожжения» нередко демонстрируют ироническую дистанцию по отношению к малым, но насыщенным экзистенциальным драматизмом сюжетам. Художественной удачей эти тексты обязаны прежде всего точности версификации, ритму. Не теряя из вида общий фон, они сосредоточены прежде всего на деталях и часто представляют реальность в неожиданной, совершенно индивидуальной перспективе.

Культурная хроника

С 9 по 15 июня в Кракове проходил V фестиваль Чеслава Милоша — главный в Польше международный поэтический салон. В нынешнем году исходным тематическим пунктом мероприятия стало произведение поэта «Придорожная собачонка» и всевозможные ассоциации с путешествием, странничеством, кочевьем, а также с эмиграцией и бегством. В беседах о поэтических путешествиях участвовали 60 гостей из Польши и из-за рубежа. Прошли три дискуссии о разнообразных измерениях странничества и придорожности. «Участники фестиваля, такие как Адонис, Брейтен Брейтенбах, Майкл Ондатже, Ольга Седакова, Ашур Этвеби или Стефан Хертманс, разнятся не только по месту происхождения и языку, но и по литературным формам, в которых они высказывают свой опыт. Однако их объединяет особая форма чувствительности и раздумий о мире, выраженных средствами поэзии», — подчеркивали организаторы. У фестиваля нет строгого регламента, так что в его рамки вписались также выставка, посвященная поэтессе Зузанне Гинчанке «Лишь счастье — это подлинная жизнь», музыкальные мероприятия, переводческие мастер-классы для студентов. Были показаны также документальные фильмы о Виславе Шимборской и Рышарде Крыницком.

Адам Загаевский за совокупность творчества был отмечен канадской поэтической премией «Griffin Prize». Премия, денежное содержание которой — 10 тыс. канадских долларов, была учреждена в 2010 году бизнесменом и филантропом Скоттом Гриффином. Вручается ежегодно одному канадскому и одному зарубежному поэту. «В XXI веке читателям, которые любят поэзию, выпало безмерное счастье, — сказал американский поэт Марк Доти во время торжественного собрания в честь Загаевского. — Есть поэт, который идеально передает тональность нашего времени, произведения которого порождены пригоршней праха XX века и голосами XXI века, полными ужаса и надежды».

Адама Загаевского чествовали также в Италии. 25 июня он получил престижную премию итальянского Университета

Урбино — «Печать Университета». «Поэзия Адама Загаевского обладает свойством, недоступным многим поэтам: умением просто говорить о сложных вещах, — отмечается в авторитетном еженедельном культурном приложении к газете «*Il Sole-24 Ore*». — Это алхимия создания языка заново, придающая ему ясность и позволяющая выразить в стихе просветленную подлинность откровения». Автор обширной статьи о польском поэте обращает внимание, что Загаевский выступает также как «ироничный и искушенный эссеист», продолжатель «великой славянской традиции», представленной творчеством Осипа Мандельштама, Чеслава Милоша, Иосифа Бродского.

В четвертый раз присуждены премии имени Виславы Шимборской. Имена лауреатов были названы 11 июня во время торжественной церемонии в Краковской опере. Ими стали Якуб Корнхаузер и словенский поэт Урош Зупан. Вместе с Зупаном премированы переводчики его поэзии на польский язык — Катарина Шаламун-Беджицкая и Милош Беджицкий.

Якуб Корнхаузер (р. 1984) — литературовед, научный сотрудник Ягеллонского университета, переводчик и поэт, автор ряда книг, в том числе двух сборников поэзии. Лауреат живет в Кракове, он сын поэта Юлиана Корнхаузера и брат Первой леди Агаты Корнхаузер-Дуды. Премией с денежным содержанием в 100 тыс. злотых отмечен его сборник опытов поэзии в прозе «Дрожжевой завод». Публицисты правого лагеря тут же ринулись на Корнхаузера в атаку, заявляя, что премию он получил не за поэтическое творчество, а благодаря интервью, в котором критиковал своего зятя — президента Анджея Дуду. В интервью «Газете выборчей» Корнхаузер сообщил, что участвовал в двух демонстрациях Комитета защиты демократии, поскольку считает, что партия «Право и справедливость» нарушает конституцию: «Это для меня ясно, и против этого я протестую. Не удивлюсь, если президент Дуда предстанет за это перед Государственным трибуналом. <...> Я разочарован его президентством. Я считал его самостоятельным, рационально мыслящим человеком. С консервативными взглядами, но не склонным к деспотичности. Он всегда казался мне представителем открытого католицизма. Я полагал, что он будет в состоянии как президент, имеющий серьезную общественную поддержку, настоять на своем. С другой стороны, я ему сочувствую, потому что вижу, как он мучается. У меня сложилось впечатление, что он попал в положение, в котором не хотел бы оказаться».

На инсинуации правых критиков ответил в «Газете wyborczej» проф. Петр Сливинский, критик и литературовед из Университета им. Адама Мицкевича в Познани: «Достаточно было бы просто обратиться к книге. Старое лекарство от глупости — прочитать. Потому что „Дрожжевой завод” — это прекрасная поэзия». Роман Павловский на страницах той же газеты, в свою очередь, пишет: «За реакцией возмущенных комментаторов просматривается особое понимание идеи литературных премий. У троллей в голове не помещается, что поэт в нашей стране может получить премию просто за интересную книгу, благодаря оценке компетентного, пользующегося авторитетом жюри. <...> „Дрожжевой завод” Якуба Корнхаузера победил в конкурсе, в котором участвовало свыше 200 книг, поскольку это „весьма зрелый том, выдержанный в сложной поэтике поэмы в прозе”, как сказал один из членов жюри, крупнейший польский литературовед проф. Мариан Сталя».

И еще одна премия. Ей может радоваться поэт, драматург и эссеист Ярослав Марек Рымкевич (р. 1935), откровенный приверженец партии «Право и справедливость». 11 июня на конгрессе «Польша — Большой Проект» он получил из рук Ярослава Качинского премию имени Леха Качинского (100 тыс. злотых). Лауреат, как сообщает Польское агентство печати, поблагодарив за присуждение отличия, сказал, что получил много премий, но премия имени президента Леха Качинского для него — особенная. «Она отличается от всех премий, которые я до сих пор получал. Это венец моих наград. Для меня это особая премия, так как она учреждена в честь Леха Качинского, связана с именем великого президента», — сказал взволнованный поэт.

— Бывают такие писатели, хотя и очень редко, которые своим творчеством создают миф. Это высший уровень творчества и литературы. Если речь идет о Ярославе Марек Рымкевиче, то он создал миф, касающийся нашего народа, миф особенный и трудный, — прославлял лауреата председатель партии Ярослав Качинский.

По словам лидера ПиС, Рымкевич вошел не только в историю литературы, но и в историю Польши и польского народа, в «историю польского духа».

Популярный актер театра и кабаре Ян Кобушевский (р. 1934) получил премию имени Циприана Камиля Норвида «Дело жизни», присуждаемую за совокупность творчества. Торжественное вручение премии состоится 26 сентября в варшавском Королевском замке. Во время церемонии будут вручены также премии в других категориях: литература, музыка, пластические искусства, театр. Ян Кобушевский, выпускник Варшавской государственной высшей театральной школы, был связан со многими столичными театральными сценами. Выступал также в кабаре «Дудек» и в кабаре Ольги Липинской. Снимался в кино — в частности, в таких фильмах, как «Ева хочет спать», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Нет розы без огня», «Брюнет вечерней порой», в сериалах «Домашняя война», «Сорокалетний», «Альтернативы 4».

Единственный международный фестиваль книги в Варшаве — это «Big Book Festival». В нынешнем году он прошел с 10 по 12 июня во Дворце Шустера, в парке «Морское око» на Мокотове. Проведено более 60 встреч, прогулок, игр и дискуссий. Участники мероприятия были привлечены к установлению рекорда мира по числу людей, читающих на открытом воздухе. Обсуждались «книги, изменившие мир»: «Майн кампф» Адольфа Гитлера, «Капитал в XXI веке» Томаса Пикетти, Коран. Среди ста гостей фестиваля были Борис Акунин, Кристина Сабалаяускайте, Яцек Денель, Юзеф Хен, Зоська Папужанка, Майкл Крамми, Лукаш Орбитовский, Войцех Кучок. Любители литературы нон-фикшн встречались с Эдом Вальями, лауреатом премии имени Рышарда Капустинского за репортаж «Амексика. Война вдоль границы» и автором книги «Война умерла, да здравствует война» о дальнейших судьбах и страданиях жертв войны в Боснии. Дариуш Росяк провел встречу с аргентинским журналистом Мартином Капарросом, чей репортаж «Голод» анонсируется как «хроника нашего времени и одна из главных книг нон-фикшн последних лет».

«Big Book Festival» проводится с 2012 года, идея и организация фестиваля принадлежит фонду «От культуры не больно».

В варшавском Саду Красинских 18 июня уже в пятый раз прошли «Именины Яна Кохановского» — литературный пикник, организованный Национальной библиотекой. На трех сценах в тени старых деревьев появлялись писатели, поэты, иллюстраторы, литературоведы и артисты. Главным героем «Именин» нынешнего года был Кшиштоф Камиль Бачинский

(1921–1944), поэт времен войны, солдат Армии Крайовой, погибший во время Варшавского восстания. К мероприятию была подготовлена, помимо прочего, выставка рукописей и графических работ Бачинского, состоялась встреча с биографом поэта Веславом Будзынским, а также дискуссия о проблемах книжного дизайна и полиграфии, связанная с издательскими экспериментами Бачинского. Его художественные интересы не ограничивались словесностью, он был также весьма одарен в области изобразительного искусства. Веслав Будзынский допускает, что, если бы не война, Бачинский, весьма вероятно, стал бы графиком. Звучали стихи, преимущественно любовная лирика, посвященная молодой жене поэта Барбаре (она также погибла в Варшавском восстании). Позднее состоялся прием, на котором можно было попробовать блюда из именинного меню 20-х и 30-х годов XX века. В завершение вечера был устроен дансинг.

Интересное интервью, которое дала Ольга Токарчук Юстине Соболевской, опубликовано на страницах «Политики».

— Когда появились «Якубовы книги», дискуссия о беженцах только начиналась, — сказала писательница. — Очень скоро она стала склоняться к тому, что сегодня общеизвестно и повсеместно принято к сведению: мы не желаем здесь беженцев, чужаки — прочь! Мы не сдали экзамен на солидарность и человечность. Наша общая идентичность слаба и хрупка — мы боимся, что измученные войной, изгнанные из домов сирийские беженцы могут оказаться для нее угрозой или вообще уничтожить. Мы решили, что никто чужой тут нам не нужен; мы будем вариться в собственном котле... Так проявились глубоко запрятанные в нас механизмы ксенофобии. Я называю это ледяным сердцем, в нас отсутствует или исчезает способность к сопереживанию.

Большой театр в Познани показал 18 июня премьеру «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского по одноименной пьесе Пушкина. Спектакль поставил Иван Вырыпаев, о творчестве которого критики пишут, что оно объединяет в себе эстетику Квентина Тарантино и Андрея Тарковского. Познанский спектакль поставлен по версии 1872 года, где больше польских сцен и показана революция Самозванца.

— Я хочу, чтобы зритель мог соприкоснуться с русской культурой: при помощи костюма, интонации, русских

орнаментов. Мусоргский, Пушкин — это основа русской культуры. Я горжусь возможностью представить ее часть польскому зрителю, — сказал режиссер на пресс-конференции.

Анна Дембовская в «Газете wyborчей» в рецензии, озаглавленной «Несчастливая Россия и смешная Польша» похвалила, прежде всего, Рафала Сивека (бас-баритон), прекрасно исполнившего партию Годунова. Оперный дебют Вырыпаева рецензент сочла удачным, хотя об успехе говорить трудно. «Наибольшее сомнение на премьере, — пишет Дембовская, — вызывает так называемый польский акт, то есть третий акт оперы, в котором действие переносится в Польшу, в сандормирский замок Мнишек. <...> Вырыпаев смотрит на поляков с их патологическими политическими амбициями с иронией, показывает, что они лишь подражают Западу, а сами, как Марина Мнишек (Магдалена Ваховская), подвержены сатанинским соблазнам и намереваются ввести в России католицизм вместо святого православия (в соответствии с мыслью Достоевского, что «Россия свинство», но единственный путь спасения мира). Исполняемый польской шляхтой полонез — что-то уж совершенно несерьезное: дюжина танцоров с трудом помещается на авансцене и едва дергается, словно режиссер хотел показать, что поляки давятся на своем малом пятчке земли и обречены на мизерность, тесноту, подражательство чужим образцам и поллюции при снах о могуществе. В адрес своих, впрочем, Вырыпаев тоже не поскупился на критику (вслед за Пушкиным и Мусоргским). Когда в четвертом акте действие возвращается в Россию, занавес-гобелен поднимается и открывает вид на большое, мрачное пространство сцены — это бескрайность России. Посредине стоит только большой деревянный православный крест, перед которым народ демонстрирует покорность и насмешничает, распиная на нем боярина Хрущева. И снова вспоминается Достоевский, для которого народ был одновременно солью православной Руси и стихией языческой анархии».

В музее варшавской Праги в середине июня открылась выставка «Исчезающие пейзажи. „Пространственная повесть“ Мирона Бялошевского». Выехав из центра столицы, последние восемь лет жизни поэт провел в многоквартирном муравейнике на Лиссабонской улице, на правом берегу Вислы. Он наблюдал жизнь обитателей Грохова, Гоцлава, Саской-Кемпы и Пшичулека-Гроховского, что увенчалось созданным в 1975 году романом «Хамово». Название, впрочем, не связано с

отношением самого поэта к новым районам: Бялошевский услышал такое пренебрежительно-обобщенное определение от старожилов Саской-Кемпы — некогда фешенебельного пригорода с богатыми особняками. Выставка показывает увиденную глазами поэта правобережную Варшаву в период ее динамичной урбанизации и модернизации. Мы можем услышать голос Бялошевского, записанный на магнитофонную ленту, увидеть фотографии, сделанные жителями мест, описанных в «Хамове», газетные вырезки, посвященные району «Прага-Юг». Бялошевский, исследуя окрестности, находил и отмечал специфическую, окраинную привлекательность местоположения этих районов.

— Ключом к экспозиции мы считаем ее название, «Исчезающие пейзажи», — говорит Агнешка Карпович, одна из кураторов выставки. — В «Хамове» описывается, например, ликвидация гоцлавского аэродрома под застройку многоквартирными домами. Бялошевский комментирует: «Рай пропадет». Рассказывает о лужайках, маленьких пляжах, невозделанных зеленых участках. Более всего ему было жаль окраинной, зеленой, ярмарочной Варшавы.

Выставку можно посмотреть до 30 октября в музее варшавской Праги на улице Тарговой.

Прощания

25 мая в возрасте 78 лет умер Юлиуш Лоранц, польский композитор, аранжировщик и пианист. Автор многих незабываемых произведений, в том числе для группы «Алибабки». Ему принадлежат такие известные хиты, как «Это земля», «Цветок одной ночи», «Радость с утра» или «Отдых с блондинкой». Юлиуш Лоранц был автором саундтреков к культовым фильмам времен ПНР: «Дятел», «Миллион за Лауру», «Пять с половиной бледного Юзека».

12 июня умер профессор Цезарий Водзинский — философ, выдающийся знаток Мартина Хайдеггера, переводчик и эссеист. Он был выпускником философского факультета Варшавского университета, по окончании которого 12 лет работал в Институте философии и социологии Польской академии наук на кафедре современной философии. В 1989 году

защитил кандидатскую диссертацию «Знание и спасение. Опыт подхода к философии Льва Шестова», написанную под руководством проф. Барбары Скарги. Докторскую степень получил в 1994 году за работу «Хайдеггер и проблема зла», отмеченную Премией председателя Совета Министров. С 2001 года занимал должность профессора Ягеллонского университета в Кракове.

Цезарий Водзинский был главным редактором философских изданий «Алетейя» и «Библиотека Алетейи». Автор многих важных исследований, статей, эссе и книг. Среди последних «И что же после философа... Философские эссе» (1992), «Светотени зла» (1998), «Св. Идиот. Проект апофатической антропологии» (2000), «Транс, Достоевский, Россия, или О философствовании топором» (2005), «Между анекдотом и опытом» (2007), «Логос бессмертия. Добавления Платона к Сократу» (2008), «Гость Одиссей. Эссе о гостеприимстве» (2015). Проф. Цезарий Водзинский скончался в возрасте 57 лет после тяжелой болезни.

Семинар «Солженицын в Польше»

в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына в Москве

27 мая 2016 года в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына состоялся семинар, посвященный его покровителю Александру Исаевичу Солженицыну. На этот раз специальным гостем семинара был краковский ученый профессор Ягеллонского университета и ректор Высшей государственной профессиональной школы им. Станислава Пигоня в Кросно, член редакционного совета «Новой Польши» Гжегож Пшебинда. Солженицынские семинары имеют свою традицию и проводятся в рамках научной и исследовательской деятельности Отдела по изучению наследия Александра Солженицына, который входит в состав Дома русского зарубежья. Возглавляет отдел Галина Андреевна Тюрина, а семинары проводятся под попечительством вдовы писателя, Наталии Дмитриевны Солженицыной.

Доклад Гжегожа Пшебинды под заглавием «Солженицын в Польше» собрал полную аудиторию семинарного зала гостеприимного института. Выступление польского гостя, кроме Наталии Дмитриевны и сотрудников Дома русского зарубежья, слушали директор Государственного литературного музея Дмитрий Петрович Бак, литературоведы Людмила Ивановна Сараскина и Евгений Александрович Яблоков. Гжегожу Пшебинде в ходе демонстрации привезенных из Польши самиздатских публикаций помогали его ученик, русист, сотрудник Ягеллонского университета к.ф.н. Бартош Голомбек и его супруга к.ф.н. Леокадия Стырч-Пшебинда.

Открывая встречу, Пшебинда рассказал собравшимся о своем интеллектуальном пути, о созревании филолога-русиста, историка идей, и влиянии, которое оказал на него автор «Архипелага ГУЛАГ». Для докладчика все началось с защиты диплома на тему «Александр Солженицын — писатель и мыслитель в традиции русского славянофильства». Это было в 1983 году (в Польше уже два года коммунистическая власть поддерживала введенный в 1981 году режим военного

положения). Защита состоялась благодаря сильной моральной поддержке научного руководителя профессора Рышарда Лужного. Немного раньше, в дни, когда в Польше вводилось военное положение, в Кракове по инициативе проф. Рышарда Лужного и проф. Люциана Суханека состоялась научная конференция на тему «Лики России», в рамках которой молодой студент русской филологии Гжегож Пшебинда выступил с докладом «Приказ забыть — или почему не печатают „Раковый корпус“». Тогда на сессии выступил также учитель Пшебинды Анджей Дравич, который тоже занимался творчеством и жизнью автора «В круге первом». Организаторы этой конференции отправили письмо на имя А.И. Солженицына, но до сих пор неизвестно, смог ли он получить эту корреспонденцию.

После короткого отступления, посвященного личным воспоминаниям, докладчик перешел к презентации самых выдающихся и интересных имен литераторов и переводчиков, занимающихся творчеством Солженицына, особенно в годы, когда писатель был запрещен как в СССР, так и в Польше. Прозвучали имена и фамилии таких выдающихся польских переводчиков как Ежи Помяновский, Ежи Чех, Михал Б. Ягелло, Юлиуш Зыхович, Виктор Ворошильский, Юзеф Лободовский, Алиция Володзко-Буткевич, Ирена Левандовская, Витольд Домбровский. Гжегож Пшебинда отметил также интересную переписку Александра Исаевича с польским инженером Ежи Венгерским.

Гжегож Пшебинда напомнил и о встрече Папы-поляка Иоанна Павла II с Александром Исаевичем. Кароль Войтыла читал и любил Солженицына. Очень интересной и насыщенной должна была быть, по мнению Г. Пшебинды, эта личная беседа двух выдающихся гуманистов второй половины XX века, состоявшаяся в Риме в 1993 году. Для нас, к сожалению, навсегда останется тайной содержание беседы этих двух замечательных людей.

Старательно подготовленная презентация Гжегожа Пшебинды с фотографиями обложек польских самиздатских переводов Солженицына и текстов о нем, а также филологический комментарий были очень тепло и с большим интересом восприняты московской аудиторией. В конце встречи с короткой речью выступила Наталия Дмитриевна Солженицына, которая, поблагодарив докладчика, заметила, что его выступление следует считать началом дальнейших исследований.

После встречи краковский ученый передал в архив Фонда им. Солженицына целую коллекцию собранных им и привезенных в Москву польских самиздатских изданий А.И. Солженицына.

Наталия Дмитриевна Солженицына получила приглашение посетить Польшу в 2017 году. Надеемся, что ничто не помешает сбыться этим планам.

В Петербурге опубликованы «Оккупационные эссе» Чеслава Милоша

В марте 2016 издательство Ивана Лимбаха выпустило третью, чрезвычайно актуальную для сегодняшней России книгу переводов прозы Чеслава Милоша.

В петербургском издательстве Ивана Лимбаха вслед за «Долиной Иссы» и «Азбукой» вышла книга «Легенды современности: Оккупационные эссе» Чеслава Милоша. Именно это издательство подхватило эстафету по выпуску польских переводов у отказавшегося от этих проектов московского издательства НЛО («Новое литературное обозрение»; Ирина Прохорова решила целиком сосредоточиться на non-fiction и несколько лет назад перестала издавать польскую и другие восточно-европейские литературы).

Милошевские «Оккупационные эссе» мало известны в самой Польше. Они были написаны в оккупированной Варшаве в 1942–1943 годах как полемика с Ежи Анджеевским. Оба писателя переписывались таким образом, обмениваясь наблюдениями. В Польше книга была издана лишь в 1996 году, полвека Милош не соглашался на ее издание. В то же время наиболее чуткие рецензенты считали сборник этих эссе одной из самых волнующих книг его прозы.

После бомбежки Милош подобрал в разрушенном помещении Французского института несколько книг — Гюго, Свифта, Льва Толстого, Ницше — и написал о них. Ирина Кравцова, главный редактор издательства Ивана Лимбаха, так пишет о процессе создания этих эссе: «Размышляя об этих книгах, он занимался аутотерапией. Внутри него были дрожь и ярость, по его же собственным словам. И, анализируя литературу прошлого, он как бы занимал свой мозг, он думал о литературе прошлого из сегодняшнего дня. Его интересовало, какие ошибки совершили деятели культуры, писатели, выводя того или иного героя. Что привело к нынешней катастрофе, катастрофе войны? Параллельно он переписывался с Анджеевским, который находился в той же оккупированной Варшаве, но на другом ее

конце. Анджеевский отстаивал веру, веру в Бога, веру в высокую идею. А Милош выступал рационалистом и скептиком и пытался развить, развивал такую мысль, что великая идея, как правило, приводит лишь к маршу в колоннах. Потому что она используется политиками, влеречивыми шарлатанами, как он говорил, для того, чтобы обмануть общество, для того, чтобы действительно выстроить всех, заставить всех в едином порыве отстаивать низменные интересы».

Примечательно, что все расходы, кроме оплаты перевода, которую частично финансировал краковский Институт книги, взяло на себя издательство Ивана Лимбаха. Перевод выполнил Анатолий Ройтман. В своем Новосибирске А.Я. Ройтман преподает точную механику, а между делом переводит польского нобелиата. На его счету и проза, и поэзия Милоша. Издание «Оккупационных эссе» — изначально его идея. Как говорит Анатолий Яковлевич, эта книга — «просто продолжение разговора с великим собеседником». За последние 15 лет это уже восьмая книга Милоша в его переводе. Издательским исполнением своего перевода Ройтман доволен.

«Блестящий ум (чтобы не сказать мудрость, ведь речь идет о практически тридцатилетнем Милоше) всегда интересен, о чем бы его обладатель ни говорил, — считает переводчик, — а тут многие вещи оказываются к тому же непреходяще актуальными». Актуальность книги для современной России подчеркивает также Ирина Кравцова: «Мы оказались в ситуации, когда любой здравомыслящий человек чувствует необходимость сопротивления. И не столько даже сопротивления в смысле баррикад, а интеллектуального, культурного сопротивления тому, так сказать, варварству, той дремучести, которая навязывается сейчас нам нашими властями предрержащими и транслируется через различные медиа. И вот именно сам способ думания — не важно даже, над чем ты размышляешь — но способ глубокого размышления о том, что ты видишь, о том, что ты читаешь, в любом случае приводит тебя к нормальному состоянию человеческому, потому что цель, которую ставил перед собой Милош в этой книге, как он ее формулировал позже — это остаться человеком. Собственно говоря, в этом урок Милоша».

«Если всё в тебе — дрожь, ненависть и отчаянье, пиши предложения взвешенные, совершенно спокойные, превратись в бестелесное создание, рассматривающее себя телесного и текущие события с огромного расстояния» — советует нам Милош.

Выход книги приветствовала московский обозреватель воскресного приложения к газете «Коммерсант» Анна Наринская. Ее рецензия вышла под заголовком «Нам не нужна великая идея». По мнению Наринской, «Легенды современности» Чеслава Милоша можно снимать с полки, открывать на первом попавшемся месте — и получать ответы на все свои сомнения. «Этот сборник Милоша должен бы стать такой книгой "первой необходимости" для нас — здешних и сегодняшних». Множество мыслей и цитат Милоша из этой книги «нам в сегодняшней России хочется заучивать наизусть и предлагать к обсуждению в школах», считает Наринская, — «причем Милош шлифует и уточняет их на наших глазах, превращая свои эссе в настоящий мастер-класс думанья». «Разговор о литературе оказывается инструментом постижения ужасной действительности, так как до того, как нечто гуманитарно неприемлемое становится возможным физически, оно становится возможным культурно. Исследование этих культурных изменений и допущений становится для Милоша поиском "момента ошибки" <...>. И — главное — оно становится инструментом установления собственной системы координат».

Выпустив «Оккупационные эссе», в издательстве Ивана Лимбаха задумались над следующей книгой прозы Чеслава Милоша. Скорее всего, это будет «Земля Ульро». Над переводом ее фрагментов работает сейчас в Кракове переводчик «Долины Иссы» и «Азбуки» Никита Кузнецов.

Чеслав Милош. Легенды современности: оккупационные эссе.

/ пер. с пол. Анатолия Ройтмана. — СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.

Многозвучный Лесьмян: разнообразие литературных контекстов и связей

**(о книге Жанеты Налевайк
«Международный Лесьмян —
контекстные взаимодействия.
Сравнительные исследования»)**

Книга польского литературоведа Жанеты Налевайк посвящена творчеству Болеслава Лесьмяна, одного из самых загадочных и сложных польских писателей XX века. Налевайк — представитель нового поколения польских филологов, оттого и подход к Лесьмян у нее не совсем стандартный. У читателя есть редкая возможность взглянуть на творчество автора «Луга» через диалог поэта с традицией и предшественниками, тем самым лучше поняв это уникальное явление на пересечении нескольких литератур, культур и эпох.

На презентации монографии в варшавском Доме литературы в феврале этого года Жанета Налевайк заметила, что ее книга написана не столько о поэзии Лесьмяна, сколько о его творческих контактах с другими поэтами — влияниях, общих контекстах, а порой и невольных творческих заимствованиях (сразу оговорюсь, что в последних нет ничего зазорного — любой сочинитель хотя бы изредка пользуется приемом, сформулированным одним нашим современником, уже ставшим классиком: «Я возьму свое там, где я увижу свое»).

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что разговор об этих связях и влияниях представляет особый интерес для русского читателя — тем более, что русские символисты начала прошлого века, к примеру, считали Лесьмяна «своим». Да и как иначе могли они относиться к человеку, написавшему на русском языке стихотворный цикл «Песни Василисы Премудрой», опубликованный в тогдашнем ведущем российском литературном журнале «Золотое руно»? Впрочем, Лесьмян довольно быстро переключился на создание произведений на польском языке, причем с гораздо более

впечатляющими результатами. Тут и началось самое интересное, поскольку Лесьмян оказался на перепутье нескольких контекстов и влияний.

О Лесьмяне мы знаем не так уж много. С одной стороны, это даже хорошо — все, что нам на самом деле нужно знать, находится в его текстах. С другой, складывается странная ситуация: никто не сомневается, что Лесьмян заслуживает того, чтобы, как писал Чеслав Милош, «оказаться в одном ряду с крупнейшими авторами европейской и даже мировой литературы»; однако это убеждение редко сопровождается сравнительными исследованиями творчества Лесьмяна. Поэтому одна из целей этой книги — восполнить пробел в компаративистских исследованиях лесьмянковского символизма. Сразу должен заметить, что автору это с блеском удалось.

Во многом это произошло благодаря интересной исследовательской методике, которую Жанета Налевайк с успехом применила к творчеству Лесьмяна, внося тем самым ощутимый вклад в развитие современной компаративистики. Принято считать, что компаративистика — это дисциплина, лишенная конкретного предмета, и в первую очередь — конкретной методики исследования. Однако автор продемонстрировала нам все плюсы и значение контекстного анализа как исследовательского метода, который позволяет отказаться от привычного деления литературы на «основные» и «периферийные» направления. Что и говорить — контекст действительно важен в разговоре о творчестве любого поэта, особенно такого сложного и «неуловимого», как Лесьмян. И то, что творчество Лесьмяна показано в пространстве не только польской литературы, но и всей европейской (и даже американской) литературы XIX–XX веков, немало проясняет в очень многозвучном и многоцветном мире Болеслава Лесьмяна.

Основной корпус книги посвящен характерным для творчества Лесьмяна филиациям (то есть литературным преемственностям, параллелизмам, обусловленным литературными контактами и связями), а также интеркультурным гомологиям (общности подходов к созданию произведений, мотивированной контактами с одними и теми же прообразами). Среди первых можно выделить американский (Эдгар Аллан По), французский (Шарль Бодлер) и российский (Константин Бальмонт) контексты. Среди же вторых важнейшими представляются параллели между творчеством Лесьмяна и произведениями русских романтиков

(Пушкина и Гоголя), модернистов (Есенина и Городецкого), а также украинским фольклором и — шире — украинской культурой.

Филиация «По — Бодлер — Бальмонт — Лесьмян», демонстрирующая глубокую связь польского поэта с символизмом, несмотря на свою кажущуюся очевидность, на проверку оказалась не лишена некоторой интриги. Вряд ли можно говорить о непосредственном влиянии Эдгара По на Лесьмяна, поскольку последний не знал английского, и к По пришел через Бодлера, так что восприятие Лесьмяном творчества великого американского романтика было во многом обусловлено тем, как По воспринимал Бодлер. Кроме того, Лесьмяну были хорошо известны стихи По в переводе Константина Бальмонта, с которым Лесьмян приятельствовал — в книге приведена трогательная история их знакомства в Париже, в Люксембургском саду, где Бальмонт громко ссорился по-русски со своей будущей второй женой, а затем вдруг заговорил с Лесьмяном, почувствовав, что рядом с ним сидит «настоящий поэт». Бодлер и Бальмонт изрядно мифологизировали По, а Бальмонт и вовсе причислял американского писателя к символистам. Все это так или иначе повлияло на Лесьмяна, который переводил прозу Эдгара По, взяв за основу французские переводы, выполненные Бодлером.

Рассматривая — опосредованное, через Бодлера — влияние Эдгара По на Лесьмяна, Жанета Налевайк касается деликатной темы, которая иногда возникает при разговоре о литературных влияниях. В свое время Лесьмян написал о По текст «Эдгар Аллан По», который в значительной степени является переводом известного эссе Бодлера «Эдгар Аллан По, его жизнь и произведения». А уже в 50-е годы прошлого века выяснилось, что половина известного эссе Бодлера была дословно (правда, на другом языке, французском) переписана без указания источников из двух статей, опубликованных в американских литературных журналах. Возникает вопрос: допустил ли Лесьмян, пусть и неосознанно, плагиат «второй степени»? И тут, на мой взгляд, остается согласиться с теми, кто готов простить Бодлеру этот казус за его решающий вклад в дело популяризации творчества Эдгара По в Европе. Что же до Лесьмяна, то эссеистика в любом случае не относилась к сильным сторонам его творчества. Куда важнее то влияние, которое По оказал на лесьмяновскую лирику.

Автор права, утверждая, что в первую очередь это влияние связано с эстетизацией смерти. Кроме того, со смертью и у По, и Лесьмяна прочно ассоциируется женский эротизм (тут,

разумеется, нужно упомянуть и Бодлера, с его знаменитыми строчками: «С еврейкой бешеной простертый на постели, / как подле трупа труп, я в душной темноте / проснулся...»^[1], да и многими другими, разумеется). Тема взаимопроникновения Эроса и Танатоса волновала и романтиков, и символистов. Впрочем, у Лесьмяна тема смерти звучит очень многозначно, и мне кажется, что разгадка здесь — в пристальном внимании поэта к природе, которая зачастую сводит усилия смерти на нет или, по крайней мере, сообщает читателю античный, языческий взгляд на вещи, когда смерть является продолжением, неотъемлемой частью жизни, а не противостоит ей. Точнее всего сказал об этом Анатолий Гелескул, лучший, на мой взгляд, русский переводчик Лесьмяна: «...многое в его стихах происходит на том свете, и пришельцы оттуда пугающе реальны. Но этот потусторонний мир отрицает саму возможность потустороннего; Лесьмян находит для него странное, почти житейское название — чужбина»^[2].

Не менее интересной — и даже захватывающей — представляется мне глава, посвященная интеркультурным гомологиям, отражающим параллели между творчеством Лесьмяна и произведениями русских романтиков и модернистов, а также украинским фольклором. И в первую очередь из-за лесьмяновской демонологии, испытавшей явное влияние Пушкина и Гоголя, чьи русалки, ведьмы и утопленницы в изрядной степени перекочевали в «Польские предания» Лесьмяна. Жанетта Налевайк подробно останавливается на том, какие функции играли эти демонические персонажи женского пола в романтической литературе и какие метаморфозы они претерпели в творчестве Лесьмяна. Особенно здесь важен гоголевский контекст, характерный, к примеру, для написанного Лесьмяном в 1914 году рассказа «Ведьма» (в первую очередь тут, конечно, вспоминается знаменитая повесть Гоголя «Вий»). Некий издатель заказал Лесьмяну цикл сказок для детей, однако многими текстами, в частности, «Ведьмой», остался недоволен, посчитав их не по-детски страшными. Переговоры издателя и автора, как это часто бывает, зашли в тупик, и рассказ был опубликован только много лет спустя после смерти Лесьмяна. «Вия» и «Ведьму» объединяет, в частности, эротический мотив, при этом Ж. Налевайк подчеркивает, что у Лесьмяна он выражен сильнее (главного героя лесьмяновской истории, деревенского старосту, соблазняет пожилая женщина, оказавшаяся ведьмой), в то время как главное переживание гоголевского Хомы Брута сконцентрировано на конечности, бренности существования. Впрочем, тут, я думаю, с

исследовательницей Лесьмяна категорически не согласился бы Дмитрий Быков — он, например, не раз называл сцену, в которой панночка-ведьма катается верхом на главном герое, а затем им же до смерти избивается, одним из лучших описаний полового акта в русской литературе, о чем довольно убедительно поведал, в частности, в своей лекции «Вий как русская эротическая утопия». С этим, конечно, можно спорить, однако несомненно, что гротескный образ ведьмы, ее сексуальная ненасытность, способность к фантастической метаморфозе и — самое главное! — амбивалентное отношение к ней обоих героев у Гоголя и Лесьмяна совпадают.

Серьезное внимание в книге уделено и связям «Есенин — Городецкий — Лесьмян» (подчеркну, что речь, конечно же, идет о раннем Есенине, поскольку Есенин-имажинист в эту цепочку совершенно не вписывается), в частности, образу «калик переходящих», которые, как и положено странникам, кочуют по некоторым стихотворениям этих авторов. Особенно много общего у таких текстов Лесьмяна, как «Солдат» и «Горбун», с лирикой Сергея Городецкого — их роднит мотив странствия, которое у обоих поэтов носит метафизический характер: их калики странствуют как при жизни, так и после смерти. Безусловно, для понимания поэзии Болеслава Лесьмяна очень важно и то обстоятельство, что писатель родился на Украине. И хотя после окончания Киевского университета Лесьмян уехал и более в родные места не возвращался, украинская природа и особенно украинский фольклор отозвались во многих его стихах, о чем и рассказывается в предпоследнем разделе монографии.

Самой же любопытной мне представляется заключительная глава книги, посвященная влиянию Лесьмяна на современную польскую поэзию. Это, по сути, открытый финал, приглашение к будущему обстоятельному разговору. В связи с Лесьмянem часто возникает вопрос: правда ли, что Лесьмян — поэт без продолжателей, последователей, учеников? «Неважно, есть ли у тебя преследователи, а важно, есть ли у тебя последователи», — верно подметил когда-то Евтушенко. Действительно, в польском литературоведении Лесьмян считается поэтом-одиначкой, не оставившим после себя не только школы, но даже и тех, кто развивал бы его поэтику. Конечно, это связано в первую очередь с уникальностью поэтического дара Лесьмяна — даже имитировать его манеру (отдельные иронические опыты, к примеру, тувимовский, не в счет) невероятно сложно, что уж говорить о ее развитии и творческом переосмыслении. Но вот что интересно — эстетика и интонация Лесьмяна неожиданном эхом отозвалась в стихах польских поэтов начала

XXI века, и Жанета Налевайк этот факт зафиксировала и убедительно обосновала. Речь, в частности, идет о Ярославе Мареке Рымкевиче, развивающем лесьямяновскую эстетику смерти. О Эугениуше Ткачишине-Дыцком, как и Лесьмян, зачарованном триадой «любовь-смерть-природа». Об авторе книги «Столовые приборы для глистов» Богдане Славинском, продолжающем традиции лесьямяновской эстетики безобразного. И о Петре Мицнере, в текстах которого иногда отчетливо проскальзывает типично лесьямяновский эротизм.

Жанета Налевайк завершает книгу довольно нетривиально — вместо традиционного подведения итогов и оргвыводов читателю предлагается краткий обзор переводов наследия Лесьмяна на другие языки (кстати, внушительный список переводческих работ, выполненных многими известными мастерами, заодно опровергает миф о «непереводимости» Лесьмяна). Такой ход ни в коем случае не мешает нам сделать главный вывод самостоятельно. Прочитав эту книгу, мы в очередной раз получаем возможность наглядно, на очень интересных примерах, убедиться, что ни один, даже весьма самобытный поэт не развивается сам по себе, без посторонних влияний. Именно об этом замечательно сказал Бродский: «Подлинный поэт не бежит влияний и преемственности, но зачастую лелеет их и всячески подчеркивает». И именно как подлинный поэт, Лесьмян, испытавший множество влияний, черпавший вдохновение из множества источников, ни одному из них не позволял дозвониться над собой и своей творческой индивидуальностью. Чужие влияния, чужие контексты совершенно не вредили Лесьмяну — наоборот, помогали ему в совершенстве овладеть самым важным искусством, какое только есть на свете: искусством быть собой.

Żaneta Nalewajk. *Leśmian międzynarodowy — relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne.*

Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016, 330 str.

-
1. Перевод В. Левика.
 2. Болеслав Лесьмян, «Телом после я стал, а сперва была рана...». Стихи. Вступление Анатолия Гелескула // «Иностранная литература», 2006, №7.

Павел Мицнас

Брак

ночам Сколько нас таких [вдов — П.М.] — твердивших по
 слова погибших мужей?

Надежда Мандельштам

производил В России [...] в тридцатые и сороковые годы режим
середине писательских вдов в таких количествах, что к
 шестидесятым из них можно было создать профсоюз.

Иосиф Бродский

жена поэта нищего копает скрытно
тайники для сокровищ Торопиться нужно
Ночью копает и в яминках памяти прячет
здесь сновиденье
здесь крик на цезуре
здесь это двустиие

Виктор Ворошильский^[1]

Поэт — фантомная конечность поэзии. Завещание Надежды Мандельштам, которое я раздобыл, состоит всего из нескольких страниц. Размазанные жирные буквы и отсутствие юстировки указывают на то, что оно напечатано в домашних условиях. Благодарность вместо значка “copyright” — на бескорыстное объединение двух маленьких издательств в борьбе за свободу слова. Формат — не больше ладони. Год выпуска — 1974. Кто из тогдашних подпольных издателей мог предположить, что их совсем небольшая публикация доживет до наших дней? И все же. Перевод экземпляра завещания Н. Мандельштам

сохранился. И не только он. Уцелела и поэзия одного из крупнейших русских поэтов XX века.

Тело тоскует по потерянной конечности. Тело просыпается ночью в уверенности, что импульс, текущий через нервную систему, заставит ногу пошевелиться; тело протягивает руку, желая поздороваться. Только через секунду, когда импульс возвращается к своему источнику, тело знает. В чужих устах стихи звучат по-другому. Мы все помним их. Достаточно услышать один раз, и они остаются в памяти навсегда. Голоса. Бродского, впадающего в экстатический, наркотический транс. Светлицкого^[2], орущего в микрофон. Остроумного Андруховича^[3]. Сентиментального Окуджаву. Гомбровича, которого поначалу можно принять за пьянчужку из рабочего поселка.

Тело тоскует, но живет дальше. Поэзия живет дальше. Наперекор всем прогнозам; наперекор тем, кто, оторвав конечность, хочет дорваться до всего остального. Как это завещание. Небольшое, величиной с ладонь. В своей истории путешествия из русского самиздата в польский — это *pars pro toto*^[4] современной истории литературы. Литературы, которую кому-то по-прежнему хочется раздавить. Советизму, потому что книги — это пережиток аристократии. Капитализму, потому что писатели не «предприимчивы», да и не соответствуют «требованиям современного общества» и уж точно не реализуют всех европейских инвестиционных планов и других священных задач Экономики. Поэзия — это гном. У нее нет никаких шансов на выживание. Но, несмотря на это, всякий раз, когда над ней вздымается сапог тоталитаризма либо бич прогресса, она вовремя отскакивает и растет дальше, как бы вопреки здравому смыслу, вопреки принципам, вопреки всему миру.

Поэзия — как писал Пауль Целан в «Меридиане», “*diese Unendlichsprechung von lauter Sterblichkeit und Umsonst*” [«это бесконечное говорение, все сплошь о преходящем и о тщете бытия»]^[5]. Если Надежда, предлагая мужу совместное самоубийство, руководствовалась какой-либо путеводной мыслью, то не исключено, что как раз этой констатацией.

Какими словами она обращалась к нему в такие минуты? Когда? В какое время дня? Лежали ли они, прижавшись друг к другу, лицом к лицу, со сплетенными пальцами, два дыхания в холодном воздухе и двое людей, соединенных в единую пару? Или, может быть, вероятнее, за завтраком, доедая единственную горбушку черствого хлеба, отводя глаза и теребя

край юбки? Спрашивала ли она кратко и напрямую? А может, изобретала иносказания, неясные намеки, двусмысленные аллюзии? Об этом у нее не упоминается. Она сочла более важным привести его ответы. А их у него было заготовлено несколько, и он пользовался ими по ситуации, как заправский игрок в бридж. Когда нужно было побить шестерку, он отвечал шуткой: «Невозможно! [...] Ведь это был бы положительный литературный факт!», когда она выглядела более решительно, говорил: «Откуда ты знаешь, что будет потом... Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться...», а в кризисных ситуациях, уже слегка раздраженный, выкладывал козырную карту: «Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?». И тогда она замолкала. Профессиональная самоубийца — так порой он ее называл.

Ведь даже если никто тогда не имел права на счастье, еще оставался юмор как последний бастион обороны от абсурда тоталитарной власти. «Из глубокой печали восстать», — пишет Мандельштам в одном из своих первых стихотворений. Приведенная строка указывает, что от печали следует не только убегать (как следовало бы из польского перевода Марии Лесневской), но и бороться с ней. Даже если тебя бросают в самое сердце тьмы, вынырнуть из него собственными силами, а когда сил не хватает, вынырнуть вместе, как супружеская чета. И не останавливаться на этом. В совместной близости и единении перед лицом пустоты посеять зерно веры. Поэтому Осип, когда Надежда предлагала ему двойное самоубийство, отказывался. Ибо совершить самоубийство — значит сдаться этим глубинам печали. Жить и достичь хотя бы суррогата счастья — это бунт, который вырастает в труднейшее искусство. Если Надежда была профессиональной самоубийцей, то он показал ей жизнь как ценность, ради которой следует сражаться каждый день, каждую секунду.

Бывало и наоборот. Если бы Надежда действительно с такой страстью подходила к Freitod^[6], она, в конце концов, рано или поздно добилась бы своего, а Мандельштамы вошли бы в историю литературы как жертвы системы, доведенные до предела сопротивляемости, которые, вместо того чтобы дожидаться шагов палача и лязга снимаемого с предохранителя пистолета, сами легли на рельсы и ждали приближения поезда. Не без причины Анджей Дравич заменил название ее мемуаров «Воспоминания» на «Надежда в безнадежности». У нее редко бывали моменты сомнения и слабости. Как пишет она сама: «Зачем на пороге новой эры, в самом начале братоубийственного двадцатого века, меня называли Надеждой? Я ведь только и слышала от друзей и знакомых: „Не надейся”

[...] Ведь без надежды жить нельзя». Более того, ее надежда не ограничивалась хлопотами об улучшении материального положения или о разрешении вернуться из изгнания в Москву, но простиралась значительно дальше, куда-то за пределы здравого смысла, где преображалась в веру в новое завтра для Европы, в веру, которая — когда грозы XX века стали постепенно превращаться в морозящий дождик — требовала от нее неустанно всматриваться в солнце, скрытое за непроглядными тучами истории.

В свою очередь Осип, будь он только и исключительно вечным оптимистом, остался бы слепым к темной стороне жизни, которая задает тон многим его произведениям. Ему всегда сопутствовал юмор, однако трудно не поддаться ощущению, что нередко этот юмор был сюрреалистическим. Сюрреалистическим, но не дадаистским. Ведь дадаисты так далеко зашли в превращении жизни в искусство, что то, что на первый взгляд должно было выглядеть дистанцией, оказалось крайней заинтересованностью в создании дистанции. В их представлении существование было дурной шуткой, которую лучше всего закончить самоубийственной пуэнтой. Осип, действительно, мог пошутить, что покушение на собственную жизнь стало бы «положительным литературным фактом». Но за подобными словами скрывалось не стремление к самоубийству, а неукротимая жажда жизни. Как писала его жена: «Этот бесконечно жизнелюбивый человек черпал силы из всего, что других, в частности меня, могло только привести в отчаяние».

Почему же тогда не Надежда, а именно Осип пытался убить себя?

В ночь с 16 на 17 мая 1934 года в московскую квартиру Мандельштамов явились чекисты и начали обыск, длившийся всю ночь. Не ожидая приглашения, они постучались, вошли, начали с рутинного поглаживания по бедрам, чтобы убедиться, что ни у кого нет наготове оружия. А потом началось. Перетряхивали ящики, отодвигали мебель, простукивали стены, допрашивали. И так до утра.

Мандельштам вызвал недовольство властей пощечиной, нанесенной Алексею Толстому. Тот, похоже, донес об оскорблении Максиму Горькому. По слухам, председатель Союза писателей СССР сказал тогда: «Мы ему покажем, как бить русских писателей». Алексей также угрожал Осипу закрыть перед ним двери издательств. Для нанесения побоев особе, занимавшей высочайшее положение в советской литературе и, заметим, бывшему другу, у него, конечно, были свои причины.

Это благодаря Толстому был вынесен несправедливый для акмеиста приговор по делу о скандале, произошедшем у него дома. Тогда Осип стал на защиту жены, которую оскорбил Бородин, шпик, подосланный чекистами.

Хотя эта история эффектна и анекдотична, но не она стала основным источником будущих проблем. С какого-то времени по Москве из уст в уста передавалось иконоборческое стихотворение о Сталине, которое акмеист прочитал перед «скромной» аудиторией из десяти человек (по мнению Адама Поморского, их было даже полтора десятка). Так что стенам не потребовались уши, чтобы это произведение рано или поздно услышали представители советских спецслужб. «Васи» образцово выполнили свои обязанности (Надежда и Анна Ахматова называли шпииков «Васями», так как набор подручных для секретных служб нередко производился из среды безработных подростков, воспитанных на примере Павлика Морозова). «Васи», подсылаемые к авторам, чаще всего перевоплощались в роль запойных читателей поэзии, которые под воздействием отчаянной тяги к лирике посещали дома мастеров и умоляли об автографе какого-нибудь стихотворения (лучше всего, ясное дело, этого, о жирных пальцах Джугашвили).

«Горец» или «Кремлевский горец» — хотя Мандельштам не дал ему заголовка, под таким названием существует этот памфлет в читательском сознании. Даже за подобное сравнение он, определенно, мог поплатиться головой, а что уж говорить о других эпитетах, появляющихся в стихотворении. Усы Сталина в нем тараканьи, пальцы напоминают червей, а подручные диктатора — это сброд услужливых полулюдей. Поэтому после продолжавшегося всю ночь обыска с наступлением утра стало ясно, что чекисты арестуют Осипа, невзирая на результаты поисков. Надежда приготовила для мужа набитый до отказа чемодан. Находившаяся вместе с ними Ахматова дала ему яйцо и заставила съесть завтрак. Служивые с насмешкой отозвались о предусмотрительности женщин: «Зачем? Разве он у нас долго собирается гостить? Поговорят и выпустят». Сразу после этого квартира опустела. Жена Осипа и его ближайшая подруга остались одни. Сидя друг напротив друга, они не обменялись и словом. Объединенные отсутствием любимого человека, они, возможно, ощутили бóльшую взаимную близость, чем когда-либо раньше.

Как отмечает в своих записках Ахматова, она дружила с Надеждой с 1924 года. Тогда Осип впервые привел свою молодую жену в дом к Анне Андреевне. «*Laide, mais charmante*»,

— написала она о Мандельштам. Некрасивая, но очаровательная. В этих словах есть искренность. А ревность? Осипа и Анну связывала многолетняя дружба. Они познакомились на одном из вечеров у Вячеслава Иванова, потом был прием у Алексея Толстого и, наконец, регулярные встречи в 20-е годы в петербургском подвале «Бродячая собака». Он — двадцатилетний, худощавый, высоко задранная голова, оттененная густой шевелюрой, юношеские бакенбарды, придающие некоторую серьезность. Но самое главное, конечно, — это его глаза. Сверлящие и пронизывающие собеседника, на снимке того периода всматривающиеся куда-то в пространство, куда-то, где «слух чуткий — парус напрягает»; глаза — как с нескрываемым восхищением вспоминает Ахматова — «с ресницами в полщеки». Это были глаза слушателя, великолепного собеседника. Она была на два года старше. При встречах в художественных кругах он все чаще подсаживался к ее столику, все чаще декламировал свои стихи. Даже если это было ухаживание — а ведь не исключено, что Осип потерял голову из-за Анны, как это бывало с каждым завсегдатаем «Бродячей собаки» — она не относилась к этому серьезно, более того, подсмеивалась над этим. Однако как собеседника она уважала его с самого начала. Он оказался человеком столь же чувствительным и столь же незаурядным интеллектуально. Еще он был прекрасным декламатором. Как она призналась в конце жизни Анатолию Найману: «Когда Мандельштам начинал читать, это было как полет белого лебедя».

В этом отношении она ему явно не уступала. В 1933 году, когда Мандельштамы встретились с ней, находясь в Ленинграде, Ахматова — по крайней мере, на один вечер — воплотилась для Осипа в Беатриче и Данте в одном лице. Они говорили о «Божественной комедии». В какой-то момент она по памяти начала декламировать XXX песнь «Чистилища» в оригинале. Это был фрагмент о появлении Беатриче, в котором говорится о чувстве, которое посетило героя в девятилетнем возрасте, а теперь, в конце пути через чистилище, вместе с появлением любимой, возвратилось «следами огня бывшего», возродилось, как будто с минуты последней встречи прошло не десять с лишним лет, а лишь несколько мгновений. Вспомнил ли Осип тогда, как десятилетием раньше писал стихотворение об Ахматовой, в котором, увековеченная в поэтическом образе остановившегося мгновенья, она стала «Рашелью вполобороте»? А может быть, ее голос, декламировавший Данте, нес какое-то ободрение, свежесть? Ведь в то время Мандельштам сам изо дня в день читал «La Divina Commedia», про себя и вслух. Быть может, из-за этой рутинной работы над

«Разговором о Данте» его интерпретация заострилась в одной форме, а Анна разбила ее и открыла перед ним новые смыслы итальянского шедевра? Сколько воспоминаний пересеклось в этот момент и слилось в голосе Ахматовой? Неизвестно. Зато известно, что она не дошла до последнего стиха песни. Словно оцепенев, она прервала чтение. Мандельштам плакал.

Они знали друг друга, как дети, выросшие в одном дворе. И в их дружбе было что-то детское. Они смешили друг друга до слез, понимали без слов. Ахматова стала поверенной его тайн. Именно с ней он делится, переживая очередные любовные увлечения. Оба в начале знакомства выделяются характерными деталями одежды. Она не появляется в обществе без своей шали; без той шали, о которой он напишет в первых, по ее мнению, неудачных, любовных стихотворениях. А он, тогда еще холостяк, шествует по петербургским улицам с ландышем в бутоньерке. Это вершина его абсурдного юмора: цветок, символическое значение которого — чистота и невинность, украшает пиджак если не бонвивана, то, во всяком случае, чрезвычайно влюбчивого товарища.

И между двух этих друзей появляется младшая на девять лет Надежда. Они не планировали заключать официальный брак. В одной из акмеистических теорий Мандельштама говорилось о поэзии как о соединении слов, которые никогда раньше не стояли рядом. Однако иногда одно слово вмещает в себя больше, чем целая поэма. Язык скрывает величайшие тайны и величайшие драмы человеческого существования. А также маленькие насмешки и истины о повседневной жизни. По-русски супружество звучит: «брак». И это не только *le faux ami*^[7], но еще и омоним; помимо «супружества», это слово также означает — как и в польском языке — «неполнота», «отсутствие».

Отсутствие планов бракосочетания; отсутствие, может быть, даже желания устраивать какую бы то ни было свадьбу, привело к тому, что брак Мандельштамов оказался в значительной мере делом случая. Как писала Надежда в письме к Рышарду Пшибыльскому^[8]: «[...] Эти стихи («На каменных отрогах Пиэрии...») обо мне. Забавно и то, что Осип Эмильевич создал их моментально, почти сразу после первой встречи, тут же почувствовав во мне не столько любовницу, сколько жену. Как это случилось, не знаю, потому что, в соответствии с тогдашней модой, я совершенно не понимала, что это значит — быть женой, и соглашалась безо всяких условий стать его любовницей [...]. Мне было девятнадцать, и, неизвестно почему, я еще долго обижалась, когда меня называли женой». И

хотя Мандельштам «почувствовал в ней жену», они еще долго жили вне брака. На этот шаг они решились лишь в 1922 году, то есть через три года. Во время поездки из Киева в Москву проводник потребовал от них документ, на основании которого они могли бы занять места в отдельном купе. Этим документом было свидетельство о браке. Они как можно быстрее, чтобы не опоздать на поезд, помчались в ближайший ЗАГС и поженились.

Это решение, возможно, поспешное и непродуманное, определенно, не было ошибочным. Любовь, связавшая Надежду и Осипа, была необыкновенной. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях Ахматова: «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела». Свидетельствует об этом и сохранившаяся переписка Мандельштамов — Надежда, уехав в Крым, в пансионат, лечиться от туберкулеза кишечника, страдала от отсутствия мужа сильнее, чем от болезни.

Значит, ни о какой ревности по отношению к Ахматовой, видимо, не могло быть и речи. Во всяком случае, о ревности, порождающей ненависть. Соединявшие их связи немного напоминают один из побочных сюжетов в «Даре» Набокова. Три человека — Оля, Яша и Рудольф. Большая любовь, большая дружба. Когда они вместе, то смеются над общими шутками, читают стихи, разговаривают о чем угодно, только не о себе. А когда один из них исчезает, оставшиеся двое принимают за досконально анализировать этого третьего. У Анны и Осипа были свои тайны, они все-таки знали друг друга с юности. Были они, как у каждой супружеской пары, и у Осипа с Надеждой. Но были они, что уже менее очевидно, и у Анны с Надеждой — Ахматова не раз выпрашивала жену поэта о его мнении на тему ее стихов и текстов о Пушкине. У Набокова все это кончается попыткой коллективного самоубийства, неотличимо похожего на совместное самоубийство Генриетты Фогель и Генриха фон Клейста^[9]. В случае Мандельштамов и Ахматовой все было иначе. Они жили в симбиозе. Кроме того, они не зависели так друг от друга, как описанная Набоковым тройца, где дружба превратилась в опасное увлечение.

Ахматова была подругой Надежды; Мандельштам посвятил ей несколько любовных стихотворений, но она, кажется, не сочла удачным ни одно из них. Он и сам в течение многолетней

поэтической карьеры (если можно вообще говорить о «поэтической карьере» в советской России), жаловался, что у него не выходит любовная лирика. Тем удивительнее количество стихотворений, которые он посвятил разным женщинам. Первые такие любовные стихи он написал, очарованный Мариной Цветаевой. Позже появились произведения, посвященные княжне Саломее Андрониковой, Ольге Ваксель, Марии Петровых или Наташе Штемпель. Не сохранилось, а возможно, никогда и не появилось ни одного стихотворения, посвященного Надежде. Может быть, это был какой-то элемент создания дистанции по отношению к браку? Их неприязнь к формальному союзу, о котором извещает патетический звон церковных колоколов и белая фата, протянувшаяся от Москвы до Камчатки, прекрасно иллюстрируется фрагментом из воспоминаний Надежды: «О.М. поэмы нравились, быть может, потому, что в них проклинались законные жены. У Пяста жена называлась „венчанной“, и он не хотел с нею жить. Очутившись чуть ли не впервые в нормальной, хотя и крохотной квартирке, О.М. тоже захотел взбунтоваться против тягот семейной жизни и бурно расхваливал Пяста. Заметив его восторг, я спросила: „А у тебя кто венчанная? Уж не я ли?“».

Обратившись, однако, к письмам, легко заметить, что эти шпильки представляли собой лишь прикрытие для жгучей и болезненной ревности, тоски, причиняющей боль сильнее всякой болезни, и любви, столь очевидной, что ею дышит каждая строка, и не требующей объяснений, сносок, посвящений; близости, приводящей к тому, что из тела получают стихи. Из их общего тела. Ведь Мандельштам писал не пером, но телом. Он не участвовал в турнире горбунов, ибо не творил за столом. Он всегда ходил. Шаггал. Из одного угла комнаты в другой, из кухни в гостиную, собирал строки по московским переулкам и воронежским улицам. Его стихи не написаны, а выхожены. Он шептал, бормотал, кричал. Часто просыпался посреди ночи, тряс Надежду, хватал ее за плечи и декламировал очередные строчки, стихи, строфы, и только когда был уверен, что она запомнила, снова ложился спать. Когда неудержимый поток слов бушевал в нем и требовал высвобождения, а жены не было поблизости, он брал телефон и декламировал стихи энкаведешнику, будучи уверен, что это единственный, кто их запишет. Почуяв дичь, он не признавал компромиссов. Было неважно, где, как, когда. После переезда в московскую квартиру, Мандельштамов навестил Борис Пастернак. Уходя, будущий лауреат Нобелевской премии сказал: «Ну вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи». Осип едва не взорвался. Как только они остались одни, он спросил у

жены: «Ты слышала, что он сказал?». Если у художника есть работа, она должна быть сделана.

Болезни тоже не останавливали его. С легкими, прожженными табачным дымом, с сердцем, не только слишком маленьким для человека, чьей аорте впору было пульсировать мировой культурой, но еще и пораженным физическим недомоганием — по-прежнему сочинял стихи, связывал строки рифмами, считал слоги и вытягивал из формы соки значений, ведь — в чем он был свято убежден и о чем можно прочесть в его «Разговоре о Данте» — форма это губка, из которой выжимается содержание; авторы же, которые поступают наоборот, то есть втискивают содержание в рамки существующей формы, это «переводчики готового смысла».

Неудивительно, что жена, каждодневно находившаяся с ним — или же каждодневно возлежавшая, так как Мандельштам, который работал в процессе хождения, представлял собой естественный противовес для нее, предпринимавшей интеллектуальные усилия на диване — прониклась убежденностью мужа в высокой роли поэзии. Впрочем, она прониклась ею значительно раньше, сразу после того, как у них завязался роман. Она бросила живопись, которой училась у Александры Экстер, ради того, чтобы посвятить девятнадцать лет жизни Осипу, то есть, по сути дела, принести себя в жертву поэзии. Не в качестве автора, а в качестве читательницы (слушательницы). Исключительной слушательницы, подтвердившей, что непосредственное соприкосновение с феноменом творческого акта оставляет след на восприятии этого творчества. Надежда испытала то, что могут испытать только самые близкие художнику люди. И из этого опыта она выплавляла эссе, навсегда вошедшее в канон книг по психологии творчества.

Моцарт и Сальери у Пушкина стали двумя символами творческого подхода. С одной стороны — талант, вдохновение, луч света, пробивающийся сквозь щель в неплотно закрытых дверях, безумие и исступление, порыв и экстаз, то есть, одним словом, Моцарт, к которому русский романтик приравнивал Мицкевича. А с другой — труд, дисциплина, долгие часы, проведенные над нотной тетрадью, пальцы, распухшие от ударов по клавишам фортепиано, ремесло и мастерство — это атрибуты Сальери. У Пушкина, однако, это противопоставление использовано, чтобы четко отделить собственную индивидуальность от индивидуальности Мицкевича, который блистал в салонах, демонстрируя искусство импровизации. Мандельштам, а вслед за ним его жена, заметили, что

«абстрагируемые Пушкиным две стороны творческого процесса проявляются в работе каждого поэта».

Она наблюдала, как ласточки улетают в чертог теней^[10]. Сколько птиц улетело у нее на глазах и не вернулось? Видя мужа, пытавшегося дотянуться до них, она пришла к выводу, что в нем живут и Моцарт, и Сальери. Гений позволяет заметить ласточку, но, чтобы поймать ее, требуется умение и дисциплина. Иначе творец останется слепым к ниспосылаемым свыше словам. Либо не сумеет ухватить их; они вырываются у него в новый полет, убегают, а если и возвращаются, то уже без той силы, которой обладали при первом появлении:

И медленно растет, как бы шатер иль храм:
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам,
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

«Мертвая ласточка» это и буквенница^[11], то есть результат переписывания, каллиграфии. Настоящая поэзия — та, что впервые выходит из уст поэта. Мандельштам не хотел принизить этим значение написанного тома стихов, либо его читателей. Скорее, он составил манифест совершенного чтения. Буквенница должна оживать вновь с каждым прочтением. Однако, чтобы свершилось чудо воскрешения поэзии, необходим читатель, который целиком погрузится в произведение. Так Осип читал Данте — каждое слово будто вызывало к жизни единственную, истинную реальность. Согласно этой программе, Надежда была не только свидетелем поэзии (как она определила свою жизненную цель), но и ее создателем. Не воссоздателем, а именно создателем. После смерти мужа она ежедневно повторяла запрещенные строки, строфы, целые стихотворения, постоянно с маниакальным упорством снова переписывала их. Вера в слово и его способность к сохранению, но также и в свое самосохранение через это слово, как и то, что она объединила в себе роли творца и слушателя и поняла их — все это позволило ей приблизиться к познанию творческого процесса. И ее эссе, конечно, лишь заменитель этого познания, одна ласточка, тогда как вся стая улетела в чертог теней. Столько говорят и пишут о гениальных писателях, и почти всегда пренебрегают темой гениальных читателей.

У Мандельштама были весьма модернистские представления о смерти поэта. И речь здесь идет не о смерти автора, о которой писал Ролан Барт, а о смерти художника, которая становится

неотъемлемой частью творческого акта. Надежда заметила аналогию между сотворением жизни и сотворением стихотворения. И в том, и в другом случае решающую роль, в значительной мере, играет экстаз. И для того, и для другого, по меньшей мере, один экстаз остается общим. Это смерть. Это «таинственный страх — перед самым бытием» диктует стихи. В противоположность страху перед насилием и террором, из-за которого исчезает тот первый страх. Поэтому, когда Мандельштамы дискутировали о самоубийстве, главным аргументом была не вера в поэзию, а страх быть уничтоженным и раздавленным, страх умереть от рук сталинских палачей.

Первую попытку он предпринял после ареста. Из-за своей возбудимости он стал легкой целью для следователей Лубянки. Подвергнувшись пытке бессонницей, он признался в написании стихотворения о Сталине. Однако тюремные преследования на этом не закончились. Его кормили соленым и не давали пить. Выводя из камеры, надевали на него смирительную рубашку, словно он был опасным сумасшедшим, а не худосочным поэтом. Наконец он не выдержал. После нескольких дней разлуки, во время свидания, Надежда увидела, что у мужа забинтованы запястья. Дух времени, сталинский террор и мрачная атмосфера Лубянки не оставляли иллюзий, и она, конечно, сразу догадалась, что Осип пытался покончить с собой. Несмотря на это, она спросила, что случилось. Он уклонялся от ответа, неизвестно — стыдясь своего поступка или не желая разговаривать в присутствии следователя. Тот, напротив — пояснил, что заключенный «пронес в камеру запрещенные предметы». А такую «предусмотрительность» он проявил благодаря знакомому биологу Кузину, который после двухмесячного ареста сообщил, что в тюрьме больше всего не хватает ножа. Осип, чуя за спиной дыхание шпики, еще до майского обыска в 1934 году сходил к сапожнику, который помог ему спрятать бритвенные лезвия в подошве ботинка. Пытки сломили его физически, но была и другая причина, по которой он перерезал себе вены. Его пугали тем, что Надежду держат в тюрьме. Сначала он не верил. Однако через несколько дней, измученный пытками, он услышал голос жены. Не членораздельные слова, а стоны и крики.

Что она чувствовала при встрече? Можно иронично заметить, что ведь они раньше уже говорили об этом; такие были времена, что за утренним кофе обсуждалось возможное самоубийство. Но если она на самом деле серьезно относилась к этой идее, то, конечно же, иначе представляла себе ее осуществление. Все происходило без ее ведома, за тюремными

стенами. Поступок, которым они должны были показать кукиш аппарату власти, вдруг стал тайной. К чему клонили следователи? Что они сделали с Осипом? Не они ли принудили его к попытке самоубийства? Впрочем, разве намерения ее мужа вообще что-то значили? Так ли важно, сам он принял решение, или его заставили? Он был на пороге смерти. И, конечно, лишь это имело значение.

Следователь Христофорыч^[12] объявил, что Осипу назначена минимальная мера наказания — он приговорен к ссылке в Чердынь^[13]. Это было маленькое чудо. Они-то ждали, что за стихотворение о Сталине он ответит головой. Надежду не выслали. Однако ее спросили, не хочет ли она сопровождать мужа. Она сразу же согласилась.

Пребывание в московской тюрьме и поездка в Чердынь обессилили его. Едва прибыв на место, Мандельштам попадает в больницу. Жена не отпускала его ни на шаг. Каждый день и каждую ночь она сидела на краешке кровати. Во время пятой подряд ночи без сна усталость начала брать верх. В конце концов, она погрузилась в полудрему. Этого оказалось достаточно. Она слышала учащенное дыхание бредившего в горячке Осипа, слышала, как сползает постель и как стучаются о пол ступни. Однако, в уверенности, что это ей снится, она неотреагировала. Очнувшись, лишь когда он открыл окно и взобрался на подоконник. Вскочив с постели, она настигла его и схватила за плечи. Но было поздно. Муж выскользнул из рукавов и полетел. В руках у Надежды остался пиджак. Об этих пяти бессонных ночах можно узнать из стихотворения «Кама»:

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

[...] Там я плыл по реке с занавеской в окне
С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

А о попытке самоубийства Мандельштам иронически написал в «Стансах»: «прыжок — и я в уме». Его мучила депрессия, одним из проявлений которой были галлюцинации. Жена пишет о болезни мужа еще более прямо — сумасшествие.

В их разговорах о самоубийстве было что-то сократовское. Выпив цикуту, можно умереть достойно. Тогда как человек, убитый советской системой, умирает в унижении, как у Кафки: умирает, как собака, которую убивают, потому что можно и потому что это собака. Мне кажется, что тоска по хорошей смерти была близка не только им, но и многим другим репрессированным. Только у Мандельштама, вследствие долгих допросов и пыток, желание переродилось в манию преследования. Он повсюду видел заговорщиков либо потенциальных палачей. По дороге в Чердынь, когда они ехали на грузовике с рабочими, один из мужчин в красной рубахе держал топор. Осип шепнул Надежде: «Казнь-то будет какая-то петровская».

«О. М. надеялся "предупредить смерть", бежать, ускользнуть и погибнуть, но не от рук тех, кто расстреливал», — пишет Надежда и добавляет, что это было проявлением его болезни. Ведь обычно он отводил жену от этого безвозвратного ухода.

Он прыгнул с высоты четвертого-пятого этажа. Выжил и выздоровел. Ясно, что не сразу. Депрессия и галлюцинации прошли у него несколько позже, когда, после знаменитого обращения Бориса Пастернака к Сталину, ему заменили место ссылки на Воронеж. А сколько потом было ночей, когда Надежда просыпалась с протянутыми руками, уверенная, что держит в них пустой мужнин пиджак?

Спесивый следователь Христофорыч сказал Мандельштаму, что «для поэта полезно ощущение страха [...] и О.М. „получит полную меру этого стимулирующего чувства”». Слова советского палача исполнились. Пребывание в Воронеже принесло три тома стихов — «Воронежские тетради». Также возвратилось здоровье и ясность ума. Во время одного из обедов Осип сказал жене: «Наденька, я не могу есть такую дрянь — ведь я теперь не сумасшедший».

Со временем появились новые проблемы со здоровьем. С работой было трудно, и денежные дела выглядели не лучшим образом. Именно тогда, в 1937 году, появилось самое загадочное стихотворение Мандельштама, а возможно, и вообще самое загадочное стихотворение в истории XX века — «Ода Сталину» (у стихотворения нет заголовка, это лишь неофициальное название). Благодаря Надежде и Ахматовой его однозначно определяют как стихотворение-соломинку, за которую хватается утопающий. Однако, как показывает его позднейшее восприятие, произведение настолько неоднозначно, а вместе с тем выстроено так таинственно и искусно, что критики до сих пор не в состоянии рассудить, писал ли его сумасшедший,

заточенный в клетке собственного безумия, или гений, упивающийся словами из рога изобилия. Адам Поморский пишет, что в общепринятой трактовке априори принимается правда жены, и раз она написала в «Воспоминаниях», что это был панегирик, значит, так оно и было. Любопытная ситуация. Мощный и многочисленный круг исследователей во всем мире намекает, что Надежда — человек, самый близкий поэту и находившийся при написании «Оды» рядом с ним — могла быть неправа. И я пишу это не для того, чтобы защитить ее, а потому, что меня в этом случае смущает феномен поэзии. Ведь если она была неправа, то, наверное, неправ был и Осип.

Мотивацией мог быть страх. Мотивацией могла быть даже некая связь, которая объединяет пытаемого и палача; своеобразное очарование Сталиным, которое ощущалось повсеместно. Но ведь если бы для него важно было лишь спастись, он написал бы какие-нибудь простенькие вирши на манер тоталитарного китча, заполнявшего колонки тогдашних бульварных изданий. Что заставило его спасти художественную ценность стихотворения от дешевого утилитаризма? Даже стихотворения о диктаторе?

Надежда говорит об «Оде» как о панегирике, замечает только прагматическую сторону произведения, что, наверное, следует воспринимать как остававшуюся у нее надежду на то, что стихотворение, действительно, улучшит их положение. Ведь нередко оказывалось, что именно она, женщина, является главой семьи, ответственной за супруга. Осип отказывался переводить прозу ради заработка, будучи убежден, что это излишне подорвало бы его творческие силы и не дало бы возможности создавать собственные вещи. Надежда не позволяла себе подобного комфорта. Как только подворачивался случай перевести какой-нибудь пустой романчик, она старалась им воспользоваться. Ей, как жене поэта, не зарабатывавшего денег (что, кажется, звучит плеоназмом), приходилось заботиться о финансах.

Хотя денег по-прежнему не хватало, Надежда в своих написанных спустя десятилетия «Воспоминаниях» оценит пребывание в Воронеже как «чудо». Ведь когда в 1937 году им разрешили вернуться в Москву, то после недолгих дней радости, вызванной возвращением из изгнания, они на собственной шкуре познали жизнь Федьки Каторжного. Нищета, более суровая, чем когда-либо прежде, заставила их побираться у знакомых писателей. К тому же, проведя какое-то время в столице, они выяснили, что находятся там незаконно. Так что они поселились в Савёлово — одном из городов

Московской области^[14]. Оттуда они раз за разом устраивали запретные поездки в Москву, где искали помощи.

Вместо нее они получили очередную порцию ненависти. Ключевую роль сыграли здесь графоман Петр Павленко и генеральный секретарь Союза писателей Владимир Ставский. Павленко ранее уже дал волю своей зависти к более талантливому поэту — когда Мандельштама допрашивали в первый раз, Христофорыч разрешил ему спрятаться в шкафу. Когда Осип (в жалком состоянии, измученный пытками) признавал свою вину и рассказывал об антигосударственных взглядах своих знакомых, Павленко подслушивал, чтобы затем распространять по Москве компрометирующие сплетни. Три года спустя он написал рецензию на стихи акмеиста, которая была приложена к заявлению Ставского по вопросу о решении «проблемы с Осипом Мандельштамом». В рецензии он писал, что поэзии «не понимает» и что «просто не любит стихов Мандельштама», а так как о «советском в этих стихах» мы едва догадываемся, то лучше их вообще не печатать.

Заявление, конечно, было рассмотрено положительно, и поэт вновь оказался на Лубянке, где после допроса был вынесен приговор — пять лет в концентрационном лагере. Не нужно было гарвардского диплома по медицине, чтобы понять, что для болезненного Мандельштама такое решение означало смертный приговор.

Чекисты застали их врасплох дома, в подмосковном Калининe. Все длилось менее получаса. Пришли, арестовали, вышли. Первого мая 1938 года, когда исполнилось ровно девятнадцать лет с их первой встречи в Киеве, Надежда осталась одна. Впоследствии она еще отчаянно пробралась в закрытую Москву, однако мужа больше не увидела.

Лубянка глотала людей, выдавая различные свидетельства и документы. Сибирь пожирала, не оставляя ничего. Письма шли и в одну, и в другую сторону. Почти все они пропадали где-то в пустоте. Сегодня, перетряхнув архивы КГБ, мы знаем больше. Виталий Шенталинский, помимо того, что раскопал дело Мандельштама, добрался и до показаний свидетеля его смерти. Известно, что поэт погиб в пересыльном лагере под Владивостоком. Ему привязали к ноге бирку и вместе с другими трупами отвезли на тележке к братской могиле.

Она, однако, не знала всего этого. Посылка, которую она отправила ему, вернулась с пометкой «за смертью адресата». Это была единственная информация о муже. Умер. Но когда? Где? Официальное свидетельство о смерти получил в 1940 году

брат Осипа, который немедленно передал его Надежде. Она осталась наедине со стихами. Об их сохранении она уже позаботилась раньше, еще до приговора. Переписала их и спрятала в такое место, до которого не добрались чекисты. Однако она сознавала, что бумага в то время охотнее сохраняла доносы, чем поэзию. Поэтому все книги, не только лирику, но и прозу, она учила наизусть. В этом своем упорстве она стала уже наполовину легендарной личностью. Она повторяла стихи во время работы на прядильной фабрике, бормотала в такт швейной машинке. Несколько позже, сорокалетней вдовой, она начала свои странствия по России, переезжала с места на место, нигде не находя полного спокойствия. И всюду шептала. Этим она заразилась от мужа. Бормотала утром за завтраком и вечером за ужином, во время перемен в институте, в котором преподавала, и по дороге домой. И делала это не ради того, чтобы отомстить властям. Подавление было столь всеобъемлющим, что лишало возможности отомстить, любой удар, лишенный цели, наносился бы в пустоту; гнев, неважно, насколько праведный и священный, вел к самосожжению или самоубийству, в котором было нечто надуманное, альтруистическое.

Значит, любовь к мужу? Звучит очень патетически, вписывается в портрет героической супруги. Было в этом, как сказал бы поэт Рышард Крыницкий, желание добиться независимости от несуществования. С какой же иронией — в этой протяженности от любви до пустоты — возвращается короткое слово «брак»; после супружества, закончившегося трагической смертью, недостаточность требовала заполнения, которое было уже невозможно; безуданно повторяемые стихи стали одновременно и памятью о супружестве, и доказательством неполноты.

Там, где личная трагедия перерастает человеческие силы, единственным настоящим путешествием становится путешествие по времени. В маленькой, напоминавшей дворницкий чулан, квартирке Надежды единственной ценной вещью были часы с кукушкой. В ритме ее стрелок женщина, всегда невысокая и хрупкая, усыхала еще сильнее и съёживалась больше и больше, чтобы в случае неожиданного налета чекистов и бегства от них — как писал Иосиф Бродский — сунуть самое себя в карман. Волей-неволей она стала и вдовой культуры; символом народа, историю и культуру которого пытались вывезти на край света и уничтожить в непроходимой тайге. Так что, возможно, тот «успех», которым стало спасение поэзии Осипа, это еще и победа акмеизма, а если

расширить круг — это победа культуры, в которую она верила, несмотря на две войны и кровавый режим?

Эти часы с кукушкой были еще и компасом на дороге, которой она шла, чтобы узнать, наконец, ответ на вопрос в конце письма, так и не дошедшего до адресата.

Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство.

Осюша — наша детская с тобой жизнь — какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем? Наша счастливая нищета и стихи.

Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой милый слепой поводырь...

Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю.

Это я — Надя. Где ты?

май-июнь 2013, сентябрь 2014

Перевод Владимира Окуня

-
1. Русский перевод В. Британишского — Здесь и далее прим. пер.
 2. Мартин Светлицкий (р. 1961) – польский поэт, романист и певец.
 3. Юрий Андрухович (р. 1960) – украинский поэт, прозаик, переводчик, эссеист.
 4. Часть вместо целого (лат.). Прием речи, когда называется часть предмета вместо целого предмета.
 5. Перевод Марка Белорусца.
 6. Добровольная смерть, самоубийство (нем.).
 7. Ложный друг [переводчика] (фр.).

8. Рышард Пшибыльский (1928–2016) – польский эссеист, переводчик, историк литературы. Переводил и исследовал творчество О. Мандельштама.
9. Генрих фон Клейст (1777–1811) – немецкий драматург, поэт и прозаик. Покончил с собой, застрелив до этого свою подругу Генриетту Фогель.
10. Ср. «Я слово позабыл, что я хотел сказать./Слепая ласточка в чертог теней вернется...» (О. Мандельштам, «Ласточка»).
11. «Буквенницей» Мандельштам называл готовую вещь, записанную на бумаге, которая «почти никогда не раскрывает импульса, истинного побуждения к ее написанию».
12. Дело О. Мандельштама вел следователь ОГПУ Николай Христофорович Шиваров.
13. Чердынь — город на севере Пермского края.
14. С 1934 года Савёлово входило в качестве района в состав города Кимры.

Комната прозы

С Ингой Ивасюв беседует Катажина
Надана



Инга Ивасюв (фото: Э. Лемпп)

— Вы много лет занимаетесь феминистской критикой. Является ли она значимым контекстом для вашего литературного творчества?

— Феминистская критика — направление гуманитарной науки, открытое для личного опыта. В трудах западных и польских феминисток важное место занимает проблема самоанализа и работы над собой. Это может послужить импульсом для определенного типа писательства — тесно связанного с психологией и социологией. Однако я не уверена, что к литературному творчеству меня склонили занятия феминизмом.

— Но возможность использовать в собственном литературном творчестве инструментарий, позволяющий анализировать личный женский опыт, вероятно, очень соблазнительна?

— Это правда, однако не менее важную роль в моем случае играло стремление испытать нечто новое — подобную ситуацию я переживала тридцать лет назад, когда мое

феминистское прочтение литературных текстов оказалось для Польши новаторским. Теперь это очень неплохо развитая область — такое ощущение, будто я окружена тесной толпой исследователей — но в те годы чувство, что я захожу в комнату, порог которой никто прежде не переступал, придавало моей работе дополнительную значимость.

— Может, именно поэтому критики-феминистки сегодня сами начинают писать? Ведь уже можно назвать целую плеяду писательниц-исследовательниц: вы, Иоланта Брах-Чаина, Кинга Дунин, Божена Уминская-Кефф, Иоанна Батор...

— Это все очень разные явления. Есть еще Бригида Хельбиг. Но только я — простите за нескромность — и профессор, и критик, и прозаик в одном лице. В совмещении академической и критической деятельности нет ничего нового; в том, что после защиты кандидатской женщина отказывается от научной карьеры, я тоже не усматриваю феминистской революции. Да, можно говорить об усилении тенденции, это связано с кризисом университета — я имею в виду не коллапс высшего образования как такового, а бюрократизацию научной деятельности. Сегодня университетский преподаватель является также служащим. То, что двадцать пять лет назад было увлекательным интеллектуальным приключением, теперь превратилось в тяжелое административное ярмо. Человек, обладающий духом авантюризма, стремящийся открывать прежде закрытые двери, станет искать для себя других путей, нежели составление параметрических таблиц.

— Облегчают ли профессиональные занятия литературой поиск этой заветной пустой комнаты? И помогает ли в литературном труде рациональное определение ниши, которую автор стремится занять?

— Не знаю, какую нишу я хочу занять, да и хочу ли вообще. Я просто встаю утром, работаю, пишу. Отнимите у меня эту возможность — и я не буду знать, чем заняться. Однако мне кажется, что за профессию критика и профессию писателя отвечают разные области мозга. Я действительно очень много читаю, даже для литературоведа, в том числе как член жюри разных конкурсов, поэтому знаю, где есть «пустые комнаты». Но я стараюсь оставлять простор для интуиции, не программировать полностью того, что пишу. Мои первые книги — «Вкусы и прикосновения» и «Бамбино» — порождены глубокой потребностью соединить воедино многолетний опыт и интуицию. Оба текста являются производной знаний и опыта. Я не хочу контролировать свое литературное творчество от и до при помощи аналитического аппарата, выработанного в

процессе университетских занятий, хотя к литературному труду всегда отношусь очень серьезно и именно поэтому обращаюсь к проблемам многоплановым и представляющимся мне важными. В «Бамбино» это общее прошлое, а контекстом для романа служит литература, исследующая опыт ПНР. В книге «К солнцу» это прошлое оппозиции, не столь одномерное, каким оно зачастую изображается. Всякий раз я исследую конкретную проблему, уже поставленную литературой. Всякий раз мои романы имеют политический фон, однако остановившись на том или ином вопросе, я доверяюсь интуиции.

— *Чувствуете ли вы, что вам удалось занять эту «пустую» комнату?*

— Я всегда стараюсь относиться к своим героям с безграничной эмпатией, а к своей точке зрения — с ограниченным доверием. Это метод чтения текстов, характерный для гуманитарной науки XX века, не только феминистской критики: стратегия подозрительности, дифференциации, определения собственной позиции по отношению к тексту. Эту перспективу я стараюсь применять и в своей прозе. Вероятно поэтому мои книги могут причинять читателю боль и дезориентировать. Наряду с эмпатией в них часто присутствует дистанцирование. Так что я заняла или хотела занять комнату, в которой с безграничной эмпатией вглядываюсь в героев и мир и одновременно безжалостна по отношению к точке зрения, с которой воспринимаю все это, в том числе и себя. Другими словами, это комната... Я хотела сказать — без зеркал, но нет. Зеркала в ней есть, отсутствует лишь трюмо с косметикой.

— *Эту безжалостность автора к самому себе я ощутила в двух ваших последних книгах, провокационность которых не ограничивается заглавием. Их героини рассказывают очень личные истории, а повествование от первого лица просто-таки подталкивает читателя к мысли о том, что речь идет о вашей собственной жизни.*

— В этом смысле книги, о которых вы говорите, действительно схожи. Поначалу я собиралась писать один роман, но потом разделила главные сюжетные линии. Обе книги написаны в условиях политического кризиса, наблюдающегося в Польше в последние годы — все большего недоверия к лозунгам равенства и эмансипации. И, на первый взгляд, обе книги об этом кризисе умалчивают. Они не вступают в открытую дискуссию с теми, кто ратует за возвращение к консервативному общественному равновесию, это не ангажированная проза. Мне хотелось написать роман так,

чтобы текст словно бы ведать не ведал о том, что происходит вокруг, и наивно показывал, как можно реализовать принцип равенства в частной жизни. Поэтому я разделила сюжеты «В воздухе» и «Пятидесяти» — тема следующей книги сама по себе требовала более серьезного тона.

В этих книгах я сознательно вернулась к повествованию от первого лица — после долгого перерыва: в мой дебютантский прозаический сборник «Город-я-город» вошло несколько рассказов, написанных в весьма ангажированном, феминистском тоне, за что мне сильно досталось в моем кругу. На меня смотрели с подозрением, словно на психологическую эксгибиционистку. На одном из авторских вечеров кто-то заметил, что такую книгу следует читать, погасив свет. Я подумала, что, значит, это «сработало», но в то же время начала сомневаться: стоит ли вызывать в читателе защитную реакцию? Кроме того, я осознала, что когда текст отождествляется с реальной биографией, это нехорошо для самого автора, и решила, что отныне буду пользоваться отчетливым повествовательным фильтром. Однако с некоторых пор меня перестало интересовать, кто и что обо мне подумает. Да, это игра, но не в литературный скандал, потому что вызвать скандал сегодня невозможно, о чем хорошо знают критики. Моя игра называется: «Это наши биографии», «У нас, женщин, случались в жизни такие эпизоды» или «Тридцать лет назад мир выглядел так». Для меня важно убедить читателя, что мы, жители ПНР, вовсе не были на одно лицо: не все ходили в церковь, не все одинаково переживали сексуальную инициацию и выходили замуж за своих первых мальчиков. И сегодня нас тоже нельзя нивелировать. Думаю, что стоит рисковать и пользоваться повествованием от первого лица, чтобы подчеркнуть распространенность описываемых ситуаций. Рассказ от первого лица сразу вводит меня в некий социум. Такой она была, наша жизнь, и к чему теперь притворяться, будто дело обстояло иначе?

— Поэтика романа «В воздухе» — поэтика чрезмерности, книга написана с позиции человека, который неустанно ищет удовольствий. Согласно экзистенциальному анализу, чрезмерность есть сознательный эксперимент, приводящий к трагедии — общественному ostracismu и даже смерти героя. Общественное же положение вашей героини, с ее постоянной тягой к получению удовольствия, не страдает. Это возможно?

— Да, определение «поэтика чрезмерности» подходит к этой книге, в которой я пыталась показать, что стремление, к которому принято относиться столь подозрительно, является

просто позитивным двигателем нашей жизни, нашей повседневности. Впрочем, в романе я использую не только поэтику чрезмерности, но и пародию, а также сказку. Здесь много неожиданно удачных для героини поворотов сюжета и развязок. И много, очень много удовольствия — речь ведь не всегда идет об экстазе, часто это просто именно удовольствие. Я сознательно описываю как непроблемный тот опыт, который в феминистской литературе, как правило, бывает представлен с точки зрения его конфликтогенности, в связи с чем неизбежно поднимается вопрос угнетения женщины. Можно, конечно, задуматься, освобождает ли такой метод творчества или лишь нивелирует реальные проблемы — я ведь отдаю себе отчет в том, что угнетение и подчинение существуют. С тех пор, как я затронула эти проблемы во «Вкусах и прикосновениях», ситуация не слишком изменилась. Однако мне казалась соблазнительной попытка приручить темную сторону реальности, рассказав историю героини таким образом, чтобы оспорить весь этот негатив. Историю, которая, благодаря нагромождению счастливых моментов, порожденных чувственностью, а не метафизикой, может подтолкнуть в правильном направлении...

— Согласно психоанализу, чтобы выжить, следует уметь отказываться от большинства удовольствий. Мне очень понравился открытый финал: героиня приемлет состояние своеобразного жизненного равновесия, которого она достигла постепенно, ничего себя не лишая. Она часто парит в воздухе, регулярно летает к волшебной возлюбленной в одну сторону мира и к волшебному возлюбленному в другую, в остальное время предается иным эротическим удовольствиям. Отношения делают ее счастливой, они по-своему стабильны и одновременно открыты.

— «В воздухе» — это, разумеется, мой «Страх полета». Эрика Джонг была для меня авторитетом в тот момент, когда я начала заниматься феминистской критикой. Недавно я перечитала эту книгу и подумала, что хотя она по-прежнему кажется мне занятой, сегодня я бы предпочла другую развязку. Моя героиня не испытывает в воздухе никакого страха, но при всей подчеркнутой демонстрации своего Ид существует в реальном мире, работает, даже неплохо зарабатывает, воспитывает ребенка. Она контролирует ограничения. В основе этой книги — противоположности. Роман укоренен в реальности, но одновременно является фантазией: как могло бы быть...

— Мне кажется, творчество героини, сочинение всех этих историй доставляет ей удовольствие само по себе и, кроме того, усиливает другие удовольствия. Такого рода интенсификация представляется мне важной категорией также применительно к «Пятидесяти». Алкоголь здесь — во всяком случае, поначалу — просто удовольствие и одновременно способ интенсифицировать другие удовольствия.

— Я не раз обращалась к теме пьянства. Кроме того, я не скрываю, что сама прошла через опыт алкоголизма. Очень давно — даже не могу сказать точно, сколько лет назад. В отличие от очень многих бывших алкоголиков, я, подобно моей героине, не подсчитываю дни, месяцы и даже годы воздержания. Эта тема — как литературная задача — привлекает меня уже много лет. Слово «интенсификация», пожалуй, здесь уместно — в процессе работы над книгой я вспоминала, что заставляло меня пить, причем это были вовсе не те мотивы, которые обычно перечисляют во время терапии. Кроме того, мне хотелось построить повествование об алкоголизме сквозь призму не антиалкогольной терапии, а, напротив, сознания, этой терапии сопротивляющегося. Я начала роман с нескольких сцен, связанных с запретными удовольствиями. Разумеется, шоколадные конфеты с ромовой начинкой, которые ребенок таскает из родительского «бара», устроенного в мебельной стенке социалистического производства, не есть прямой путь к алкоголизму, однако мне казалось важным показать, что причиной зависимости может стать непреодолимое желание получать удовольствие, а не эмоциональный дефицит или психологическая травма.

— Зависимость обогащает жизнь, привносит в нее определенный опыт, однако одновременно и разрушает.

— И неизвестно, что возьмет верх... Порой я спрашиваю себя: к чему так трястись над этой жизнью, если мы все равно умрем? Стоит ли постоянно держать в узде свое Ид? И всякая ли история чрезмерности есть история того, что нуждается в коррекции? Всегда ли следует стремиться к жизненному равновесию путем преодоления себя? Не уверена, во всяком случае, в этом романе.

— Вы оспариваете в нем пользу терапии. Терапевт всегда аккуратно подсказывает, в каких случаях наше поведение выходит за рамки той или иной нормы, а в каких — нет. Убеждает проявлять умеренность во всех областях, скептически относится к состоянию упоения... Вы иронизируете над интерпретационными «отмычками», которыми пользуются врачи и мода на которые приходит и уходит. Особенно хорошо это

видно на примере отношения очередных терапевтов к гомосексуальным склонностям героини.

— Сейчас я, пожалуй, сделалась терпимее — а несколько лет назад была настроена по отношению терапии гораздо более непримиримо. Конечно, можно возразить: мол, человек, у которого есть проблема, всегда отыщет способ увильнуть от самоанализа. Да, моя героиня прикладывает определенные усилия, чтобы ускользнуть от терапии и предаваться любимому пороку. Но, возможно, имеет смысл усомниться в безусловной пользе терапии? При всем моем уважении к работе терапевтов, понимании, сколь многих людей они спасли, я предпочитаю отказаться от их помощи. Есть люди, которые постоянно находятся в процессе той или иной терапии, постоянно лечатся от всевозможных зависимостей и неврозов, не осознавая, что уже давно страдают зависимостью от избавления от зависимости. Разумеется, я знаю, что в Польше все это появилось сравнительно недавно и развивается — сегодня опыт героини был бы иным, чем двадцать лет назад, когда ее превосходство над экспериментирующими психологами из поликлиники было очевидно, что нужно дать терапевтам шанс... Гм.... А может, нужно дать шанс себе и не беспокоиться о терапевтах?

— *Возможно, терапия может привести человека к зависимости от себя самой, поскольку доставляет удовольствие? В процессе работы с жизненным нарративом мы открываем многослойность своего «я», обнаруживаем в нем бесчисленные тайны и клады, а это само по себе увлекательно. Но где-то в глубине есть нечто, вовсе не желающее воспользоваться этим шансом — при помощи коррекции жизненного нарратива корректировать жизненные привычки. Мы получаем удовольствие, подбирая ключи к своему «я» и одновременно получаем удовольствие, не находя их и плутая.*

— Потребность в том, чтобы доказать целостность своей личности, а также потребность манипулировать собой, действительно сильны, особенно у людей, имеющих дело с повествованием и поэтому легко предающихся конфабуляции. Очень хорошо уловил этот момент Ежи Пильх в «Песнях пьющих». Возможно, в терапии как таковой есть нечто, сходное с конфабуляцией алкоголика? Я думала об этом, когда писала «Пятьдесят». В процессе работы я многое осознала, расставила по местам, рассказала заново или просто вспомнила. Конфабуляция алкоголика, зачастую обвиняющего себя во всех мыслимых грехах и сочиняющего все новые в стремлении предстать в самом худшем свете, а затем

опровергающего сказанное и утверждающего, что тем не менее он великолепен, в сущности, очень напоминает терапевтические сеансы. Там мы тоже охотно следуем указаниям терапевта и открываем якобы заповедные зоны, чтобы в следующий момент предстать своей противоположностью.

— Но разве вы сами не подсказываете читателю, что причиной зависимости героини от алкоголя является женская меланхолия? Героиня рано теряет мать, которая, к слову, умирает от «женской» болезни.

— Сюжет нарративной терапии строился бы так: героиня начала пить после и из-за смерти матери, проблемы в семье помешали ей полноценно пережить траур. Я же в первых главах романа подчеркиваю, что героиня была счастливым ребенком, воспитывавшимся в хорошей семье, где никто не злоупотреблял алкоголем, не считая традиционно «мужских» отцовских пьянок. Она вынесла из детства позитивный эмоциональный капитал. Смерть матери в ее случае не привела к созданию травматической семейной ситуации, это был просто печальный опыт. Героиня в состоянии через него пройти. Такого рода утрата должна вести человека к зрелости и стабильности, но получилось иначе. Я хотела показать парадокс. Предположить, что в жизни нам приходится переживать тяжелые моменты, однако нельзя автоматически считать их ключом к пониманию стремлений, выводящих человека за рамки некой иллюзорной нормы.

— Самая большая и, кажется, единственная драма героини, связанная с ее зависимостью, — это проблемы со здоровьем...

— В связи с этой книгой стоит процитировать Пола Остера: «Живя, мы теряем жизнь». Разумеется, я бы не хотела, чтобы из нашей беседы следовало, будто алкоголизм не является мучительным, болезненным, страшным явлением, что он разрушает не только печень, но и человеческие отношения, возможность обрести в них счастье. Я только хочу сказать, что мы не знаем, каков будет окончательный итог. Эта мысль представляется мне важной.

— У героини несколько связей, мы наблюдаем различные их стадии. Эти отношения для нее очень важны, и хотя они выходят за рамки санкционированной обществом нормы, но все же не радикально. Из романа не следует, что, не страдая героиня зависимостью от алкоголя, эти связи принесли бы ей больше счастья. Скорее потребность героини в свободе мешает ей полностью отдаться тем или иным отношениям.

— Мне было важно избежать схемы повествования об алкоголичке, которая в молодости пережила некую травму и пытается алкоголем компенсировать дефицит общения или эротики, да еще скрывает свой порок от близких. То есть схемы, наиболее часто эксплуатируемой при антиалкогольной терапии. Эта модель, конечно, важна, но я хотела рассказать о женщине, которая не терзается своим алкоголизмом из-за того, что он причиняет кому-то страдания. Ее не мучает чувство вины по причине манкирования теми или иными социальными функциями. Она существует в этой книге наедине с собой и наедине с собой пытается разобраться в себе и своей зависимости от алкоголя. Порой она сознательно исключает того или иного человека из своей жизни, чтобы иметь больше времени для главного занятия — пьянства.

— *А как вы видите место своего творчества в контексте традиций литературы об алкоголизме? Женский алкоголизм — тема в нашей культуре, по сути, табуированная. Алкоголик-мужчина — в качестве литературного героя — давно укоренился и оброс множеством возвышающих его коннотаций, но женщина? Она на протяжении столетий оставалась персонажем довольно-таки отталкивающим: старая шалава и сводница. А ведь в древности фигура пьяной старухи играла важнейшую роль в дионисийских мистериях. Мы видим, что современная литература, в том числе женская, порой обращается именно к этому смысловому уровню... И в вашей героине есть нечто дионисийское.*

— Сюжет мужского алкоголизма пользуется большой популярностью в современной мужской прозе. Пьющий герой обычно одинок или вовлечен в сложные отношения. Эта литература трактует женский мир с точки зрения интересов мужчины и, как правило, ищет причины алкоголизма путем мифологизации структуры, поэтому я решила подойти к этой проблеме с другой точки зрения; отсюда смещения в романе. Я также отвергла наиболее, пожалуй, популярную схему — повествование во время запоя, поскольку хотела говорить о зависимости с определенной временной дистанции, а не изнутри. Да, моя героиня плутает и врет, однако жизненный итог ее пятидесяти лет не так уж плох.

— *У Ежи Пильха в «Песнях пьющих» важное место занимает фантом женщины-спасительницы. Конечно, Пильх трактует его с некоторой иронией, он осознает, что женщина вряд ли спасет героя, однако женщин-терапевтов, пытающихся этот фантом у него отнять, изображает холодными стервами.*

— Это фантазии, от которых предостерегают терапевты. Опирайтесь на другого человека, не пить ради него — значит делать его созависимым. Эти фантазии, конечно, связаны с традиционным разделением ролей мужчины и женщины, подчинением женщины мужчине, даже если, на первый взгляд, ее возносят на пьедестал. Я не жду от мужского повествования справедливой оценки роли жен, возлюбленных или дочерей алкоголиков, а потому считаю, что об этом — как и обо всем прочем — мы должны рассказывать с позиции женщины. В моем романе также фигурируют люди, стремящиеся спасти героиню. Она втягивается в эти отношения, а затем не столько их порывает, сколько переформулирует, поскольку решить собственные проблемы посредством другого человека невозможно.

— *А как вы понимаете мотив остатков в «Пятидесяти»? Этот сюжет появляется многократно, например, в образе магазина времен ПНР, в котором продают остатки тканей, и который героиня в детстве очень любила, или магазина, где можно купить обрезки мяса...*

— Пожалуй, это и в самом деле отдельная тема, связанная с перспективой, с которой написан роман. Героиня говорит о своей жизни накануне пятидесятилетия. Мне самой недавно исполнилось пятьдесят, я переступила эту важную для нее черту и хотела строить повествование с точки зрения человека зрелого, рассказывающего о своей жизни и отчасти подводящего итоги, то есть не изнутри процесса — будь то лечение, запой или протрезвление. Роман был задуман как взгляд назад, на прошлое, где все видится именно такими остатками — фрагментами разрозненного повествования, которые, однако, не воспринимаются как реликвии. Вопреки трактовке биографии как осмысленного целого, позволяющего делать определенные выводы, я хотела рассказать о жизни, складывающейся из различных обрезков, остатков — но не таких, например, как у Иды Финк — уцелевших во время катаклизма, а именно остатков нормальной жизни. Кроме того, я говорю о том, что остатки могут быть использованы: например, из них можно делать всякие красивые вещи. Такой характер носит, например, одна из связей героини, в которой она, так сказать, подбирает остатки чужой жизни: ее многолетний любовник женится, становится отцом, но когда героиня зовет его обратно, возвращается и снова начинает регулярно с ней встречаться, в свою очередь в какой-то степени также подбирая остатки — уже ее жизни... Биографическое повествование об алкоголизме само обращается в такое подборание остатков — пьянства, различных сохранившихся в

памяти и постепенно тускнеющих образов. Легче запомнить связный терапевтический нарратив, у которого есть начало, развитие и развязка.

— Остатки ассоциируются у меня также с мотивом возраста отцветания. Начало связи героини, о которой вы сейчас говорили, совпадает с началом менопаузы. То есть как женщина она переживает период, который, с точки зрения патриархальной традиции, выносит ее за скобки женственности, понимаемой исключительно как сексуальная привлекательность и способность к продолжению рода.

— Этот роман действительно рассказывает о последнем пороге среднего возраста. Героиня переживает момент, когда женщина становится «невидимкой». Когда-то считалось, что это происходит после сорока лет, сегодня — что после пятидесяти, быть может, мы доживем до эпохи, когда выяснится, что такой границы не существует вовсе, но в романе этот момент для героини значим. Я уже говорила, что иногда испытываю потребность обойтись без наркоза. Я бы хотела, чтобы мы принимали свой опыт в его целостности: терпеть не могу современную культуру дешевого оптимизма, заверений, что гимнастика избавит нас от старости. Парадоксальным образом, эти заверения, будто старости не существует, будто жизнь после пятидесяти только начинается, только усиливают страхи, которые призваны развеять. Я хочу показать, что, с точки зрения этой патриархальной трактовки женственности, наше женское существование на протяжении многих лет представляет собой такое подбирание остатков. После менопаузы мы утрачиваем способность к воспроизведению, но ведь сексуальность по-прежнему может оставаться нашим внутренним двигателем, женщина совершенно необязательно погружается в летаргию, хотя представления об этом периоде женской жизни, которые существуют в современной культуре, весьма к тому располагают. Быть может, именно эти обрезки, лоскутки — самые главные, самые яркие, чудесные и многообещающие?

Мы, впрочем, говорим о менопаузе в контексте отношений с мужчиной и способности к деторождению, но в моей книге важное место занимает мотив, связанный с бездетностью как сознательным выбором. Героиня ведь бисексуальна, у нее есть связи с женщинами. Для меня это значимая тема, и я неоднократно ее затрагивала. Показать бездетность в связях с женщинами — мой ответ на вопрос об усыновлении или стремлении иметь детей в гомосексуальных семьях. Для кого-то может быть ценностью именно отсутствие детей, то, что

секс необязательно ведет к продолжению рода. Такой выбор — их способ жить вне нормы, согласно своим потребностям, по-своему, не подчиняясь наиболее распространенной, санкционированной обществом схеме устойчивых отношений во имя воспитания детей.

— *Как читатели реагируют на ваши книги?*

— Ну, авторские вечера редко посещают те, кто враждебно настроен по отношению к творчеству данного писателя. Однако читатели у меня очень разные. «Бамбино» оказалось очень близко людям, имеющим опыт, подобный тому, который я описала, то есть людям старшего поколения, а это не та публика, которая станет рассуждать о бисексуальности. Очень интересные дискуссии, прежде всего о сексуальности, вызвала книга «В воздухе». То, что мы можем обсуждать любые вопросы, любые нюансы эмоций, очень важно. Так что рискованное повествование от первого лица полностью себя оправдало.

— *Ваши героини высказывают массу наблюдений, касающихся социальных изменений в Польше на протяжении последних десятилетий. Что вы думаете об эмансипации в наши дни? Способны ли польки свободно и без чувства вины получать удовольствие или на них все еще давят различные запреты и нормы? А может, занятые бытовыми проблемами, они просто не имеют на это времени?*

— Я думаю, нормы по-прежнему оказывают на нас давление. И не только нормы религиозные, в парадигме которых существуют верующие женщины. Не будем забывать о феминистской или лесбийской политкорректности. Мы твердим левым, что человек имеет право на удовольствие, однако сами, как правило, живем в условиях цензуры. Ангажированность романа «В воздухе» заключается в том, что я показываю: сегодня сексуальность является вопросом именно политическим. В годы юности моей героини дело обстояло иначе. Конечно, насаждались и модель гетеросексуальной семьи, преимущественно католической, и принцип сексуальной сдержанности, но отсутствовал связанный с сексом развитый нормативный дискурс — было лишь ханжество, требовавшее видимости «нормального» поведения. Скрытность оставляла некоторые ниши для свободы, а вот дискурс открытых спален свободе отнюдь не способствует. Сегодня на нас из всевозможных газет, телепрограмм, с трибуны сейма сыплются противоречивые высказывания на тему норм сексуального поведения. Получается, что в любой момент жизни и при любом поведении мы можем выйти за их

рамки: в одном и том же — разумеется, по разным причинам и для разных авторитетов — можно усмотреть патологию. Секс сделался ареной политических игр и в этом смысле перестал быть областью приватности.

— Мы говорим о сексуальности и норме, но не менее, а быть может, даже более важно, что вы показываете в книгах новые модели человеческих отношений. Героини отвергают как модель моногамного брака, так и модель устойчивых моногамных партнерских связей. Но установка на поиск в отношениях с другими людьми прежде всего удовольствия не означает неспособности к нежности, восторгу, эмпатии, заботе, дружбе; в определенном смысле ваши герои ценят постоянство в непостоянстве. Однако избегают слова «любовь».

— Пытаясь говорить или писать о любви, мы попадаем в силки всевозможных схем. Мои героини эмоционально вовлечены в отношения с разными людьми, порой они строят довольно крепкие связи, но в описании их я стараюсь избегать схематизма. Однако отказ этих женщин от романтической модели переживания любви не означает, что они являются нигилистками.

— Для меня катарсическим в этом романе стало отсутствие у героинь эмоциональных ожиданий. Стремясь к удовольствию, эти женщины избегают ситуаций, которые грозят стрессом оттого, что другие люди могут не удовлетворить их эмоциональные потребности. Ваши книги вселяют мужество быть самим собой вне существующих схем, строить нестандартные отношения, следовать за своими стремлениями туда, где они могут быть удовлетворены, невзирая на мнение и реакцию окружающих.

— У меня нет рецепта равновесия между близостью и свободой, но я думаю, что его следует искать, и именно этим заняты мои героини. Я сознательно освободила их от многих реалий и в этом смысле они воплощают скорее фантазии о жизни. Подходящие ли это книги для нашего времени? Мне кажется, что сегодня люди — взять хоть моих студентов — снова ищут конкретных ответов на вопрос, как жить. Ощущение неуверенности переживается ими в столь многих областях, что заставляет искать опору. Я говорю не только о приверженцах правых взглядов. Дискуссия о свободе и удовольствии касается основ общественного бытия и культуры, но в нашей общественной жизни ей никто не придает значения. Мне жаль, что, говоря об удовольствии и сексуальности, я обрекаю себя на маргинализацию, заслужив репутацию писательницы, берущейся за якобы несущественные вопросы вместо того, чтобы заняться серьезными общественными проблемами.

— Именно феминизм открыл, что «частное является политическим». И ваши книги на самом деле очень тесно связаны с тем, что происходит в общественной сфере, однако показывают они это сквозь призму повседневной и интимной жизни. А о чем вы будете писать теперь?

— Писать — это не развлечение, это тяжелая работа. Даже если результат получается забавным, ему предшествует тяжкий труд, и порой я спрашиваю себя, зачем мне эти постоянные усилия. Может, нужно дать отзвучать всем этим разнообразным сюжетам, поскольку бремя тем, которые я сама для себя выбирала в последние годы — траур, экстатическая сексуальность, алкоголизм — в самом деле нелегкое. Может, я вернусь к повседневности, оставлю на время эту деятельность, передохну?



Галина Дубик

Мир утраченный — мир запечатленный



Большая Синагога на ул. Тломацке в Варшаве. Фото Х. Поддембского из архива Института искусства Польской академии наук. Открытая в 1878 г. синагога символизировала значение и позицию сторонников гаскалы, еврейского движения эпохи Просвещения и реформированного иудаизма. Одно из красивейших общественных зданий, построенных на польских землях в XIX веке, просуществовало всего 65 лет. 16 мая 1943 г. немцы взорвали его, символически отметив таким образом окончательное подавление восстания в варшавском гетто.



Футбольная команда Еврейского спортивного клуба «Маккаби» Новый-Сонч. Слева направо: Бернкнопф, судья Мецгер, Нойштадт, Цоммер II, Фридман, Беер, Спрай, Рабинович, Клястер, Скшипек, Киппель II, Амкраут. Фото из Национального цифрового архива (автор неизвестен). «Маккаби» был вторым после «Спартакуса», считающегося левым, еврейским спортивным клубом в городе.



Казимеж-Дольный. Разговор с отцом. Фото Й. Дорыс из архива Института искусства Польской Академии наук.



Кладбище в Монастежисках на Подолье, Тернопольское воеводство. Фото Х. Поддембского из архива Института искусства Польской Академии наук (автор неизвестен). За кладбищем в Монастежисках ухаживало, как в каждой еврейской общине, общество Хевра кадиша («святое братство», называемое также «погребальным братством»). Братство заботилось, чтобы каждый еврей имел достойный и соответствующий ритуалу обряд похорон. На фотографии надгробия 20-х годов XX века в форме стелы.

В конце прошлого года в Люблине вышел в свет интересный альбом — «Утраченный мир. Польские евреи». Четыреста страниц тщательно подготовленного издания иллюстрируют важный отрезок истории многонациональной Речи Посполитой, этническая разнородность которой осознается каждым современным интеллигентом в Польше. Однако просмотру страниц альбома сопутствует странное чувство, укрепляющее понимание того, сколь непрочен мир не только вещей, но также и идей. Собранные в этом издании уникальные архивные материалы рисуют широкую панораму присутствия евреев в Польше в межвоенный период, без замалчивания трудных и жестоких моментов, таких как проявления нетерпимости, антисемитизма, еврейские погромы. И все же это — запечатленное с о с у щ е с т в о в а н и е, которое и в прекрасных своих, и в прискорбных проявлениях

завершилось в катастрофе Второй мировой войны. Так что во всех отношениях верным кажется название — «Утраченный мир», потому что, рассматривая множество снимков, показывающих героев альбомов в разных контекстах и в разной среде, мы чувствуем, что наблюдаем присутствие евреев в Польше в его зените — многоцветный мир на черно-белых фотографиях. И безусловно, здесь важен не только изобразительный ряд, но и тщательно проработанный комментарий. Все снимки снабжены максимально точными подписями, помещающими изображения в широкий контекст. Каждый из восьми тематических разделов открывается вступлением, написанным проф. Конрадом Зелинским. Эти вступления дают читателям возможность установить точные координаты событий, позволяют понять исторический контекст, разъясняют многочисленные нюансы, не всегда очевидные даже для тех, кто интересуется соответствующей проблематикой. Глубоко продуманным сопряжением визуальной компоненты со словом создается прочный памятник безвозвратно ушедшему миру. Во вступлении авторы (уже названный проф. Зелинский и издатель, автор концепции альбома Лешек Дулик) пишут: «Мы верим в силу этих снимков. Верим, что с их помощью можно совершить путешествие во времени, что они помогут приблизить к нам тех, кто был их героями. Здесь люди заурядные и выдающиеся, состоятельные и бедные. Можно посмотреть им в глаза, зайти в их дома, увидеть за работой, узнать, как они переживают радости и заботы. Картина бытия за краткий миг до трагедии: героям неведомо еще, что и они, и мир, в котором они живут, вскоре будут уничтожены».

Особенно важно, что в тематических блоках, по которым сгруппированы фотографии, иллюстрирующие каждый раздел («Город, местечко, село», «Повседневная жизнь и работа», «Вера и жизнь», «В обществе», «Антисемитизм», «В мире политики», «Эмиграция», «Культура и наука»), в комбинации панорамных планов с портретными снимками доминирует Человек, так что возникает впечатление, что просматриваешь хотя и монументальный, но отчасти и семейный альбом. Тонко указывает на эту доминанту издания Павел Спевак, директор Еврейского исторического института им. Эммануэля Рингельблюма, в отзыве, помещенном на четвертой страницы обложки: «Снимки приносят радость, вызывают подъем, будят интерес. Они останавливают прошлое, которое бывает радостным, утомительным, драматическим, комичным. Их надо рассматривать ради них самих, как семейный альбом, как рассказ о прошлом».

Издатель приложил максимум усилий, чтобы идентифицировать не только героев помещенных снимков, но также и авторов без малого пятисот воспроизводимых фотографий. Понятно, что не всегда это было возможно: в альбоме нашлось место для сюжетов и фигур, сыгравших выдающуюся роль как в еврейской, так и в польской культуре (сакральная архитектура, похороны государственных деятелей, традиционные свадьбы, портреты общественных деятелей и т. д.), и для моментальных снимков из жизни предместий, из домов, из мастерских бедных ремесленников. Из этого разнообразия лиц и мест складывается иконографически-вербальный нарратив об истории еврейско-польского сосуществования. Общей истории, ибо неотделимы от польской памяти педагогическое наследие Януша Корчака или скромное по объему, но значительное в историко-литературном отношении творчество Зузанны Гинчанки, для которых нашлось место в этом издании.

Безусловно, альбом не исчерпывает всех нюансов еврейского вклада в культуру и историю Польши. Раздел «Культура и наука» можно было бы обогатить рядом имен и лиц, но это не самое существенное, поскольку идея полноты едва ли превалировала в замысле альбома. Именно в его нынешнем виде, именно в этом выборе героев и проблематики издание выполняет свою недюжинную задачу — привлечь внимание к довоенной, сложной полнокровности еврейско-польского сосуществования и указать на нынешнюю фрагментарность знаний и свидетельств о нем.

Альбом доступен в пяти языковых версиях: кроме польского издания, подготовлены англо-, немецко-, франко- и русскоязычные тома, которые можно приобрести через интернет-страницу издательства <http://swiatutracony.pl>, там доступны также отдельные снимки, составляющие панорамный альбом «Утраченный мир». И мир запечатленный.

Утраченный мир. Польские евреи. Фотографии 1918–1939 гг.
/ Лешек Дулик, Конрад Зелинский.
– Люблин-Варшава: «Bonі Libri» и Еврейский исторический институт, 2015.

Новая легенда

(Из книги «Акация цветет»)

1. Разоблачение манекенов

Так начиналось: бесцеремонно и внезапно был разоблачен механизм манекенов, приводящих в движение пружину тоски. Эта пружина, собственно, была причиной тому, что дешевые и дрянные происшествия («жизнь»...) были сладкими, словно судьба, а банальные встречи — будто разноцветное, единственное приключение.

Так выяснилось: все истории с «проигранными делами» и «потерянным временем», все истории «сердец, сломанных уже навсегда» — вся эта смешная дешевизна было просто-напросто вырезана из старомодного романса. Как заведенные, пытались сдвинуться жесткие фигурки мужчин в котелках и гибких женщин с изогнутыми талиями. Они пытались приблизиться друг к другу: в этом заключалось главное событие жизни. Фигурки удлинялись на глазах. (Такое удлинение талий и лиц называлось грустью; или еще: разочарованием).

Потом случилось нечто удивительное: те цветные дела жизни — до сих пор растолкованные в качестве судьбы — стали напоминать мясо, грубое лавочное мясо, исполненное беспокойства и бесчисленных страстей.

Те «роковые» и «цветные» судьбы, те приключения и встречи, были сейчас словно вещи совершенно невыпеченные, тошнотворные, с невыразительным, сладковатым и навязчивым запахом; они были словно прокисшее тесто, словно липкий клейстер. Даже люди сейчас казались сделанными из липкого теста, из теста тоски, и они, как тесту, давали скиснуть своим страстям.

Под пальцами расползалось, точно халтурный товар, длинное и всегда печальное происшествие, которое называется — «жизнь».

В то время из реклам и ламп города исчез душный фиолетовый цвет; исчез фресковый красный, впутывающий в непонятные бесчисленные авантюры на безлюдных улицах; исчезла даже

патетическая лимонная желтизна, цвет самопожертвования, фантастический, словно кубы, словно стальные северные моря.

В синем яблоке ночного города показался неон, красный неон и голубой.

Этот красный и этот голубой были холодны, как сталь.

И холодная сталь стала господствовать в городе.

Так начиналась новая легенда города.

2. Необходимость в новом сырье

Тоска, вязкий материал жизненных дел.

И, как и из жизни, решено было также из всей возможной продукции исключить вязкие, распутные вещества, исполненные каких-то мелких, невыразительных капризов.

Их место заняли крупные капли концентрированной серости, всяческого веса и настроения: здесь была легкая, меланхолическая серость бетона и мощная машинная серость железа; гибкая сталь и мечтательная жесть, желающая только того, что уже есть.

В конце — стекло, неуклюжая большая капля бесцветной, уже остывшей слезы.

Из этих тяжелых серых капель теперь еще можно было добыть концентрированные оконные стекла вещей — твердые и решительные, словно сама судьба. В том мире была представлена также меланхолическая медь — необходимая во всем капля сентиментальности; банальности.

Но в состав новой жизни вошел также фарфор, — круглый и улыбчивый, в котором, впрочем, были еще какие-то остатки неловкости.

Эта остаточная и скучная материя мира достигала своего совершеннейшего жизненного этапа в решающую ее судьбу эпоху искусственных форм. Она же была равнозначна жизни ответственной и бездушной, уже свободной от разнузданности дальнейших перемен, с неправдоподобно взволнованным однообразием.

3. Идут новые манекены

Также тогда были обнаружены в людях души материалов:

Душа беспомощного фарфора.

Души дерева и бумаги.

Души металла. Души жести.

Одновременно на улицы города вышли витринные куклы, куклы всевозможных концепций. Тут женская головка с каплей фарфоровой печали или каплей развратности, все как на заказ. Далее шла кукла, созданная отчасти из меланхолии, которую не следует воспринимать слишком всерьез; так как она сама себе не верит, так как не знает, примерить ли маску счастья, или, в бледно-розовом платье, сыграть сцену грусти? Ах, эти тряпичные платья известной розовости или голубизны, всецело принадлежащие тому, увядшему делу с жизнью...

И была также между ними неуверенная, потерянная маска из увядших роз, из зелени (ранее маска Тулуз-Лотрека, вновь представленная Паскиным). И грушевидные лица женщин Пикассо с округлыми и ленивыми глазами. И все те торсы, склоненные влево и вправо, — представляющие, как событие непривычное и единственно важное: завитые волосы, три или четыре сантиметра волна, — тут нет ни случайности, ни каприза. Это море жестяных волос идет вниз и вверх, идет в отмеренном, и, словно судьба, неизменном ритме.

В этих куклах даже меланхолия была вогнана в твердые, исполненные равновесия линии: в брови, нарисованные серной хной; в округленные губы, помада — марки «Хамелеон»; в два симметричных пятна на скулах.

Несмотря на все, строгий орнамент линий и плоскостей не оставлял ни единого атома развратной материи тела. И более того: в твердых контурах лежала, помимо тела, также так называемая душа; ушла без остатка в строгий орнамент, и только единственная ее капля оставалась подвижной: черная, серая, коричневая капля глаз.

Тогда тяжкая капля глаз принялась представлять все нюансы драгоценного материала меланхолии».

4. Раздел о манекенах: продолжение

Бумага плоска и нестибаема, без проспектов. Бумага печальна, как люди, которые ничего больше не могут поделать в жизни; как бело-голубое молоко и словно ситец в больших розовых цветах.

Дерево всегда печально, как умеют только беспомощные люди; люди скучные, которые не умеют жить ничем: синим воздухом и самой жизнью. Они видны на улицах и в витринах фотографов. После свадьбы заказывают фотографии: по десять штук и по двенадцать, для всех родственников и для себя, на память.

Они знают — жизнь следует отработать; все, что пристало жизни, все в предписанном порядке, все в свое время. (О том, когда это время придет, подскажет сама жизнь, нужно только довериться жизни).

Но никогда не отработать все: всегда остается еще смерть.

5. Еще несколько видов кукол

Душа железа: душа бегущих параллельно, счастливых шин. Душа машин, сосредоточенных и ясных, прекрасных в болезной работе болтов с пружинами. Люди с железной душой идут сквозь неопределенный и мягкий и жизненный пейзаж, не впутываясь в душевные дела судьбы.

Это те, которые уподоблялись жести, повторяли предложение: пусть все будет так, как, собственно, есть. Серая жесть очень опытна.

Люди с фарфоровой душой, снова беспомощно улыбаясь, оставались бесконечно удивленными.

Приближенными к фарфору и бумаге оказались женщины.

Мужчины были как бы скроены из железа с жестью. Или из дерева, скучного и беспомощного.

6. Кораллы, лирическое интермеццо

Фарфоровые уличные манекены завесили пестрым коралловым оперением. Над точеными конусами грудей поднимался шарообразный шум. Шуршал звуком деревьев, стекла и стали.

Этот металлический шум лежал на складках меланхолической бронзы материи; на черноте созерцательного бархата, на задумчивых материях марки терракота.

Тем временем с уличных витрин исчезли красные кораллы, сорванные со ста развязных, живых и теплых плеч. Не было также жемчугов, тихих, как стальной день, журчащих меланхолией серых морей. Новые кораллы из стали и стекла холодны, словно чужая вещь, словно жизнь, от которой мы хотим только того, что уже есть.

В металлическом шуме толпятся женщины. Так перебирала некогда Леда нежный лебединый пух; так женщины Макса Эрнста — слепые, мясистые, коричневые, — впутывались, словно в идеи, слепые и монументальные, в жестяные перья птиц.

Теперь женщины с холодной фарфоровой душой нежились в холодном металле и твердом тихом стекле.

Зачем нужны бархатные жемчуга, мясистые и монотонные, как сама жизнь, когда можно обзавестись стеклянными драгоценностями — из стекла, исполненного возможностей, из стекла, которое может быть сладкими пластинами из стекла и коралла? Чем являются удушливые слезы изумрудов и рубинов с их собственной, — неизвестной нам, недалеким, — жизнью, исполненной тяжести земли и ее печалей?

Двадцатого февраля 1932 года газеты сообщили о закрытии крупнейшей в мире алмазной шахты в местности Кемберли, Канада: в результате неважной конъюнктуры на бриллиантовом рынке.

На самом деле случилось так, что алмазы стали уже не нужны. И что не нужны уже бархатные слезы жемчугов; изумруды и рубины, ведущие слишком замысловатую, неподвластную нам жизнь.

Тем временем витрины магазинов заполнили искусственные кораллы. Искусственные кораллы могут соответствовать тоске каждого из многих дел жизни.

7. Яблоки, лимоны и апельсины

До сих пор не поняты фрукты. В них принято видеть мякоть, материю капризную, принужденную и деликатную (будто из

фруктовой мякоти были изваяны женщины Ренуара, изображенные алой телесностью яблок).

Тем временем яблоки обладают скрытой душой. Ни апельсины, шарообразные пространства, не являются тем, за что мы их принимаем, ни лимоны, созданные холодом и стеклянистой влагой.

Шарообразные фрукты, в сущности — вещи, не похожие на себя: на дословность материи, на ее вульгарную развратность, неопределенность прихотей.

И только сейчас обнаружилось, что блестящий лак и жирная, лоснящаяся краска присваивается скорее фруктами, нежели материей мягкой и липкой. Фрукты из краски, из лака раскрывают фруктовую душу: сладкую шарообразность.

Так оказались ненужными мясистые фрукты, с телами, исполненными беспокойства.

На щитах магазинов рядом с овощами — смотрят округлыми каплями небесного лака человеческие фигуры. Небесная краска улыбается в те июльские дни, когда даже небо создано из твердого и холодного лака.

Так вошли в жизнь блестящие, холодные лакированные фрукты.

8. Тарелки и бокалы

Тогда также выяснилось, что до сих пор не было понимания сущности прохладных творений из стекла и фарфора.

Пять раз в день тарелки и бокалы вселяются в человеческое общество, в уклад человеческой жизни, ее серых событий.

В паузах же они располагаются в буфетах, лежат на стеллажах, на полках, в ожидании того часа, когда людям потребуются их холодные души: сладковатые контуры, исполненные округлостей.

И уже не известно, это ли контур — равновесия в ожидании, — это ли линия торжественного фарфора в воздухе, или просто, возможно, сама бесконечность голубоватого воздуха, затвердевшая в белых округлостях?

В линиях столовой посуды на мгновение задерживается огромное пространство, стряхивает холодную пыль своей значимости, округлости, и следует дальше, каменное и трагическое, отяжелевшее от новых возможностей.

И в этом, возможно, заключается важность отсутствия претензий столовых приборов и отведенная им судьба.

Случилось же это открытие в то время, когда возникала легенда о «геометрических происшествиях жизни».

9. Горы, моря и деревья

Вдалеке виднеются горы, горы, как печальные яблоки граната, словно сливы. Эта патетическая и одинокая страна.

Вблизи — это кучи беспомощной земли, банально заросшей зеленью деревьев.

Растут деревья, развязные, словно горные сорняки. Под острыми, исполненными тоски и неудовлетворенности углами, выбрасывают вьющиеся вертикали тяжелых, барочных глыб веток и листьев, груды зелени и цвета. Зелень деревьев всецело заполняет пространство мясистым, распущенным беспокойством.

Неизменно тем временем текут реки: тысячи лет; размеренно колышутся моря. Моря и реки не разрастаются сорняками; не разливаются, словно глина или тоска, взволнованная зелеными глыбами деревьев.

Море живет согласно числу семь; море живет в твердых серых лоханях земли. И исполнено всем.

Согласно числу серого моря и ритмичной паники рек живет бетонное море улиц, и пейзаж бетонных стен: растений с пнями, с гибкими уровнями вертикалей ветвей.

Под ласковым, как бы согласным с жизнью углом вырастает пейзаж отвесных уровней; сильный, полный, насыщенный уравновешенными, простыми углами. Серые растения стен и окон заполняют происшествиями плоское поле дней.

В этом пейзаже люди прижимают к себе судьбу, словно твердые грани исполинской многосторонней глыбы, заходят к себе, проникают и уходят, — в отмеренные промежутки времени —

бесповоротно и безвозвратно. Словно волны серых морей и чистых рек.

В этом пейзаже нет места для никому не нужных рук и сердец.

Тут всегда должно что-то произойти с лишним сердцем и двумя ненужными руками.

10. Но на окраинах жизни...

Где-то на окраинах жизни еще можно было отметить пространство высотой в один, в два, даже в три этажа. По вечерам это пространство длилось, — только не выше освещенных магазинных витрин, и закрывалась одновременно с магазинами, в седьмом часу, в самом начале синей, душной ночи.

В кобальтовом мраке звучало еще раз, позже: хлестало вокруг желтых стеклянных соцветий фонарей. Тогда оно было плоским кружком и фатальной возможностью... Ласкало душной меланхолией, манило к далеким проспектам вещей, проигранных навсегда, к каким-то отложенным делам, которые всегда еще могут произойти.

Потом, в блеклый день, в который раз подтверждалось, что стеклянные цветы ночи — те старомодные газолиновые фонари, но далее следует ждать неслыханных встреч. Так переменялась жизнь.

11. В центре жизни

В центре мира тем временем все шло согласно гордому ритму однообразия. Рос классический город: чудесное древо горизонталей и вертикалей.

Берег мира, словно драгоценной материей, наполнился серым холодом. А жизнь продолжалась без кислых, рыжих сорняков страсти и без теплых молочных сорняков тоски. И уже не было примера, соответствующего этой жизни, кроме: фигура прямоугольника.

И даже такие переживания, как тоска, усталость и тяжкое отрицание, брали пример у серых фигур, — у эллипса, круга и квадрата.

Тоска направлена к чему-то и замыкается в ласковом эллипсе своего лика; усталость погружена в свою материю, почему исполнена густой, неподвижной монотонностью, как круг; отрицание твердеет как бы раз и навсегда, — как квадрат.

В мире исчезло суровое, бесконтрольное движение: зачем передвигать предметы и ноги, если в каждом месте есть все, что может быть? Улица серая с желтым, как небо. Затем вновь кобальтовая, как небо. Человек ждет. Серая вещь ждет. Желтое солнце с той и другой стороны.

И уже потом, когда все закончилось, душа мира звучала в таком, например, факте: ежедневно, как если бы ничего не происходило в промежуточных отрезках времени, улицы заставлялись неким числом ног, которые приводились в движение застарелым вопросом: как жить? Как если бы в это время ничего не происходило.

Так обнаружена душа мира: неподвижность.

УПАДОК

12. Барахло затопляет мир

...Пока появились в продаже дешевые искусственные продукты. И, как принято у вещей наименее важных, были также и эти ненужные произведения первым знаком каких-то перемен.

Они затопляли рынки, словно красные лепестки засыпающих тротуары отцветающих каштанов, и тоска, словно назойливый туман, заливала жизнь скучных людей.

С этими продуктами происходила странная вещь: они двоились и бесконечно множились, как если бы оплодотворяли друг друга. Их было уже слишком много в мире, но они все-таки продолжали размножаться, все больше похожие на себя, согласно шаблону, с фантастичностью на заказ и с простотой на заказ.

И уже нельзя было замедлить дикого, разнузданного воспроизведения барахла. Все продукты на рынке стоили одинаково: по десять грошей штука каждого товара, штука ровно десять грошей.

А достать можно было: шнурки для ботинок, черные и коричневые, по 10 грошей пара; десять платочков для носа, — настоящее голландское полотно — за один злотый. Можно было

получить: столики для кактусов, плетенные из проволоки подставки для утюгов; приспособления для легкого и уверенного завязывания галстуков; устройства для быстрого вдевания ниток в иголки, и для завивки — целая завивка за пять минут; а кроме того: танго «Ребекка», «твоя любовь», «осенние розы», «говоришь, что любишь меня»... всего лишь за 10 грошей.

Этот товар распространялся с такой горькой серьезностью, с таким пламенным пафосом, что барахло, казалось, отыгрывает единственно важную, незаменимую роль в жизни. Мир встал прямо — в хорошо зашнурованных башмаках, коричневых и черных.

Под собственными кроватями только что умерших людей стояли, право, только что ходившие ботинки, ботинки черные, ботинки коричневые.

13. Ситцы взбираются...

А в подвалах с готовым платьем громоздились груды дешевого ситца, тонкого, с узором из полосок или больших цветов. Эти узоры были выдержаны в вульгарных, и в то же время сказочных цветах — таких, как: калиновый красный, фиолетовый и травянистая зелень; или: голубой и красный георгинов и апельсинов.

Эти ситцы были жесткими и сухими, бессодержательными. Изредка они пробовали что-то еще: пытались уподобиться мягкому шелку или мясистому бархату, но даже блеск их был плоским и жестким, безжизненным.

Еще жестче этих были шевиоты: ломались острыми углами, рассыпались прямо на угловатых плоскостях. И ни одна краска не задерживалась на жестких нитях материи, чтобы сделать ее более гибкой от сладкой развязности или холодной задумчивости цвета. Всякий цвет отскакивал от этого шевиота, словно сухая известь, и этим объяснялся их вид, грустный и невыразительный.

Теперь вовсе вышли из употребления: сочный бархат, волнистый шелк и ласковое сукно. Далее исчезли такие цвета, как гибкая осенняя бронза; холодный, фантастический коралловый красный; сладкий стальной серый.

В магазины с материей входили с улиц целые толпы фарфоровых женских кукол. Толпясь в шуме и шепоте, они с

неслыханной поспешностью покупали все эти ситцы в цветах и полосатые шевиоты.

Мир заливала дешевизна, вторичные чудовища, побочные продукты холодных, скомпрометированных вещей; скривленные маски, которые отрывались от собственных образцов, решая править самостоятельно; легкая, ни к чему не обязывающая жизнь.

Так весь мир заливала дешевизна: карикатура на мир горизонталей и вертикалей, который мог быть сладким, словно октябрьская серость, или патетичным и отстраненным, слово уход, словно единственное событие во всю жизнь.

14. Интермеццо: кофе

В далекой Бразилии, на Яве и на Суматре сталкиваются в кобальтовое море миллионы килограммов кофе, три миллиона девятьсот тысяч килограммов в 1932 году.

В километровых коричневых полях с медными дисками в воздухе твердеют серые овальные тельца кофе. В них застыла бархатная тишина, горькая, как серый октябрьский день, вечно замкнутая в ароматах чужих городов, в которых будто впервые видны прогулки навсегда.

Кофе пьется в серые вечера с желтыми лампами, в снова нечто теряющие вечера. О, кофе не пьют негры Бразилии и Калифорнии. Ни белые с фабрик Европы. Кофе пьют считанные тысячи на всем белом свете между стальными северными морями и кобальтовыми водами Юга. Итак, зачем все эти километры кустов, могущие быть ненужными, словно люди?

Но кофе — кофе не относится к сорнякам, переросшим и назойливым. Кофе, миллионы твердых, правильной формы овалов аромата; это фигуры сладких эллипсов. Эти овальные капли нельзя понимать в качестве обычных сорняков; для того их растят медленные ладони негров, чтобы отдать затем в подарок кобальтовому морю.

Кофе — то, что должно удержаться на свете.

15. Продолжение упадка: искатели приключений

Сейчас это началось вновь: начался поиск приключений на улицах города. Поиск немудрых, но снова единственно важных встреч, желание снова быть только для кого-то; ожидание необычных судеб: с повторением должна была возвратиться банальная, мясистая «красочность жизни».

Тогда восстанавливается в правах некий тип людей, неактуальный в эпоху героической серости: людей, занятых беспрестанным поиском счастья; тех, кто «со сломанной жизнью»; и тех, которые «не умеют жить без людей», даже на протяжении одного вечера.

(В их жизни опыт ничего не значит; они не пережили сюжета разочарования, нужного для того, чтобы разоблачить «счастье»).

В их жизни, как невкусное размякшее пирожное, киснет какое-то одно дело; и эти люди начинают напоминать ядовитые сорняки, назойливые и переросшие; те, что, вопреки всему, выбрасывают бесцеремонные прокисшие стебли, свои вьющиеся истории и липкие листья «пережитого».

Такие люди снова вошли в оборот.

И тогда вновь расселись у столов, у стен господ в черном, в котелках, и гибкие дамы с печальными удлинненными талиями. И вновь ждали дня, в который «все еще может случиться».

Тут и там еще блуждали по миру: серый цвет, твердое решение, отвергнутая судьба; но эти дела и явления сейчас только заставляли расчувствоваться от их беспомощности посреди клейких, как тесто, переливающихся желаний.

На их место в жизнь снова возвратился весь ненужный балласт бесцельных закругленных жестов, которые копировали серые, героические жесты жизни.

Но эти движения и ситуации были легкими, как цветные, безответственные воздушные шары: с такими событиями невозможно даже считаться, пусть они и похожи на странное приключение жизни.

ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ

16. Круг замыкается

И все, что теперь произошло, возникло там, где было совершенным и неподвижным, и таким окончательным, и случилось жизнью.

Выяснилось, что люди не могут долго выносить героическую монотонность. Слишком трагичным был серый орнамент дней, избавленных от воспоминаний и ожидания. Все было закончено и запланировано, и больше нечем было заняться на свете. Вновь стали необходимыми суровые дела.

Где-то ждали материалы. Тяжелые, сочные, едкие.

В бронзовых тропических странах. В горячем песке Калифорнии. В серых горах Урала, в Скандинавии, в туманах, густых, словно цветущие почки, все заслоняющие серой вуалью лепестков.

Где-то ждала судьба. Цветная, немудрая, а все-таки единственно важная.

А там, где из убогой и плоской земли нельзя было добыть никаких чудес, — там ждали: липкая глина, постный песок, бесцветный щебень. И, пускай невыразительные, вне разнообразных возможностей — событием были и эти материалы.

Сокрытыми оставались неизвестные дела, и вновь все обрекали на первозданность.

И возвращали к «жизни».

17. Цветет акация

Теперь на площади зацвели акации. Затем заполнили все улицы грустным запахом невозможных, не произошедших событий.

Был, собственно, июнь, один из трех месяцев с липким запахом, в котором теряются наши руки, наши сердца. Листья были мясистыми и невероятно зелеными. Зеленые тела листьев заполняли целые окна во все дни.

Потом присоединились липы, пахнущие всем: история таких цветений безымянна.

Так снова началось время великих, выдающихся событий: печальных, роковых ожиданий, в противном случае неясных в своей важности. Все эти «роковые встречи», «несчастливые

любви»; грустное счастье — неясное, и все-таки «счастье». И вновь цветет акация.

Такие события затягивают на окраины, откуда не так уж просто затем возвратится; где все возможности сложены в большие горки, как цветы и листья одной ветки; где фонарики — это «стеклянные цветы» или «фрукты из стекла», а серая кожа вечера равна голубому воздуху чужих городов.

Этим окраинам свойственно странное счастье. Там человек запутывается в людях и уже не может больше жить без них, и не может больше жить с ними.

18. Осенние разговоры

Потом пришли месяцы выцветающего солнца и медных листьев.

С бледных улиц доносилась горечью жареных конфитюров и ароматом листьев.

А запах тот странным образом напоминал урегулированные судьбы и упорядоченные жизни.

Потом началась серия бесконечных бесед, непонятных, как «сама жизнь».

Эти беседы относились к осенним листьям, которые нуждаются в серых дождях и сладких, тихих туманах для того, чтобы они смогли пожелтеть; их темой были какие-то серые, сладкие дожди, длящиеся бархатные туманы, обвивающие собой еще зеленеющие, но уже слабые листья, в судорожной грусти серой мглы.

Тогда обращается внимание на необычные, не замеченные до сих пор дела; что, например, те самые листья в серой мгле еще зеленые, но становятся ржаво-красными в хромовом свете полдня; что серые стены, белеющие в тишине на оловянном море неба — такие легкие, как коробки пушистой бумаги с целлулоидными прямоугольниками в дни голубого неба; и как они подражают только бетонным стенам.

А разговоры эти подменяли однозначно деликатные и очень важные дела, которые должны были быть, собственно, сейчас немедленно улажены: любовные объяснения и признания; непонятное счастье; и то, всегда неразрешимое дело: как жить?

И, собственно, ничего не сделано. А казалось, что делается много чего: все, чего можно достичь в жизни. И теперь люди чувствуют ответственность за жизнь: с ними происходит нечто подобное тому, что и с листьями, которые сейчас кажутся жесткими и как бы соответствующими запаху.

Итак, это начинается вновь: жизни достаются вещи и судьбы. Распространяются подробностями всяческих ситуаций, ожиданием и разочарованием; нарастают округлостями неожиданных смыслов.

Так оправдана жизнь: сладким бараклом, которое начинается — всегда — «сломанным сердцем», а заканчивается твердым решением: «жить», выраженным согласно старомодной, весьма потрепанной терминологии: смирением.

19. Картофельные поля

Картофель пахнет маленькими жесткими цветами.

Лиловые с белым картофельные поля пахнут сладко и, словно глина, немного сыро. Словно они из жесткого ситца в мелкий, чуть рассеянный, цветочек.

И так хорошо, что лиловые и белые картофельные поля пахнут ситцевой скукой. И что происшествия и вещество раздуваются от скуки.

Во всем мире ждет липкий материал скуки; ждет своей судьбы. Словно фантастическая медь, словно сочное железо, словно обыденный, дословный материал глины, из которой можно вылепить человека.

Клейкий материал жизни ждет своей судьбы: на свете еще есть чем заниматься.

Только нужно подобрать лежащую, нарастающую повсюду большими грудями жизнь.

Нарастает: словно прибывающая луна. Напитывается соками сорняков, скисших, берущихся неизвестно откуда: из голубого воздуха? Из банальных встреч? Из пропащих вещей и дней?

1932

Перевод Богданы Пинчевской

Проза Деборы Фогель

Книгу госпожи Д. Фогель следует отнести к разряду экспериментов на окраинах ведущего течения мысли в работах современных авторов. Этот эксперимент заключается в подаче в некой сгущенной форме тех формальных элементов, которые изредка проскальзывают также в прозе других писателей, способных трансформировать определенные переживания, идеи, абстракции в конкретные чувственные формы, при помощи как обыкновенной метафоры, так и далеко идущих аналогий и парафраз. На мой взгляд, тайна этого алхимического тигля заключена в познании мира не-индивидуализированным образом, не зависящим от личностей и их одноразовых переживаний, вместо чего акценты расставлены на синтетических характерах различных явлений.

К примеру, для госпожи Фогель вид витрин в весенних сумерках будет всегда уравновешен сложным и многогранным переживанием, в котором трудно вычленишь рациональное зерно определенного состояния, зато легко распознать среднее арифметическое опыта, касающегося всей жизни в целом. В этом и заключается метод автора; другой вопрос, добивается ли она над-личностной истины. Этот контрапункт воображения под пером автора насколько амбициозен, настолько же и капризен, и временами томится своей собственной односторонностью. Это правда, что жизнь и ее смыслы в искусстве не могут исчерпать цвет и геометрическая форма, при помощи эмоционального этикета, картона, клея и макияжа; в конце концов, все это дает в итоге не более чем кукол. Но в то же время нужно заметить, что автору безукоризненно хорошо известна та сфера явлений, которую она хотела описать, и она легко пользуется ее элементами, как пользуются ограниченным набором приемов в оформлении интерьера, с несомненным знанием правил, обязательных в изобразительном искусстве. Поэтому нет ничего удивительного в том, что для беллетристики ее коллажи немного «мертворожденные»; в данном случае «мертво» — не значит неинтересно, а значит то, что в их холодной игре воображения не найти повода для сопереживания.

Из трех произведений, а именно: «Цветочные с азалиями», «Цветет акация» и «Сооружение железнодорожной станции»,

— последнее грешит наименьшей произвольностью сопоставлений и обнаруживает привлекательные градации словесного материала по отношению к описываемой действительности. А нужно, чтобы этот подход был равномерным, целенаправленным, закрытым последней деталью в сооружении станции и сооружении произведения.

«Сигналы», 1 марта 1936 года, № 15

Debora Vogel. *Akacje kwitną (montaże)*, „Rój”, 1936.

Покаяние

«Прошлое бездонно», — написал в «Дневнике» Гомбрович, подкрепив это общее утверждение замечаниями, почерпнутыми из собственного опыта. Вскоре после того как палеонтологи либо археологи открывают миру нечто, представляющееся бесспорно или просто абсолютно древнейшим, появляется что-то еще более архаичное, извлеченное из еще более глубоких залежей нашего природного или рукотворного мира. Будет ли это длиться бесконечно? Трудно представить, чтобы когда-нибудь пропал интерес к древнейшему, лежащему в самых нижних слоях, до которых можно добраться, лишь упорно пробиваясь к тому, что еще относительно недавно было совершенно недоступным или даже невообразимым, но трудно утверждать и то, что любопытство вечно будет удовлетворяться, что какая-то находка вновь позволит сдвинуть на миллионы лет начало жизни на Земле, а какие-нибудь раскопанные следы позволят утверждать, что на этой территории общественная жизнь протекала на много веков раньше, чем считалось до сих пор.

Однако, когда говорят о бездонном прошлом, речь идет не только о его элементах, принадлежащих к хронологически упорядоченному времени природы или скромному в сопоставлении с ним времени истории, времени, которое удастся вообразить при помощи соответствующим образом метафоризованных пространственных представлений. Прошлое индивидуальное, личностное, субъективное бездонно по-другому. Его невозможно реконструировать в том виде, в каком оно могло иметь место в пренатальный период и в первые дни жизни. В качестве личного опыта прошлое — производная сознания; чтобы начать существовать, оно должно восприниматься. Его своеобразная бездонность проявляется в богатстве составляющих, часто никак не упорядоченных, не поддающихся абсолютным законам хронологии, открывающихся в неожиданных обстоятельствах и во внезапных, порой удивительных ситуациях; случается, впрочем, что и без каких-либо конкретных причин. Из этих соображений, говоря о нем, я воспользовался бы иной метафорой, упомянул бы о большом котле прошлого, обладателем которого является каждый из нас, если не страдает амнезией, котле, в котором сосуществуют разнообразнейшие ингредиенты, и именно они выявляются, когда в нем

помешивают металлическим половником или деревянной лопаткой. Так на поверхность всплывают какие-то частицы прошлого, иногда более давнего, иногда недалекого. И делают они это в различных формах, порой достаточно полных и замкнутых, а иногда и во фрагментарных, которые дают возможность весьма отрывочной реконструкции, способствующей умножению сомнений и знаков вопроса.

Я веду эти общие рассуждения ради оправдания того, что в моем рассказе, относящемся к событию, извлеченному из времен детства, будет, вследствие перемешивания в котле прошлого, так много колебаний в подтверждении и представлении фактов, а также в комментариях к ним. Прошое, извлекаемое здесь мною на поверхность, столь небогато, чтобы не сказать бедно, тем, в чем можно быть уверенным, возможно, потому что частицы, из которых оно складывается, не касались непосредственно меня, я был лишь свидетелем или зрителем, одним из многих мальчишек, любопытных к тому, что происходит, быть может, ожидавших, что откроется что-то небывалое и увлекательное, что-то, вносящее разнообразие в монотонную, лишенную развлечений, убогую во всех отношениях жизнь.

Лето было в разгаре, это событие произошло перед самым моим отъездом; после него я надолго потерял связь с местностью, в которой пережил конечную фазу оккупации, представляющую собой эпоху уже закрытую, но по-прежнему отмечающую своим клеймом каждого выжившего, в особенности, если он стал ее жертвой. Моя политика по отношению к памяти была двоякой, чтобы не сказать контрастной — с одной стороны, я хотел провести четкую линию границы, разделяющую два мира, такую, которую я не мог бы пересечь, чтобы погрузиться в еще не столь давние события, в моем случае исключительно болезненные, а с другой стороны, мысленно возвращаясь к ним в самых разных ситуациях, в том числе в полусонных видениях, я хотел удержать их в себе, как-то записать, так, чтобы они существовали во мне до тех пор, пока я буду среди живущих. Конечно, такой консервации подвергались, в первую очередь, самые важные для меня переживания, много значившие и, как правило, наиболее травматические. Другие, которым не находилось места в этом реестре, иногда таяли в непрестанно подогреваемом котле прошлого и исчезали совсем, а иногда оставались в виде хаотически разбросанных частиц, из которых трудно было бы сложить целое. Именно в такой форме сохранилась история, которую я намерен рассказать. Я был лишь скромным и, наверное, не слишком пылким, а скорее, вообще равнодушным очевидцем того, что

случилось; даже не уверен, что я особенно интересовался тем, что, по крайней мере, для некоторых из моих друзей, могло представлять увлекательное или хотя бы интригующее зрелище.

Помню небольшой деревянный костёл, стоявший неподалеку от главных зданий сиротского приюта, прямо у дороги, которая вела к реке. В те времена судьба его была бурной, на территории, неоднородной в национальном и религиозном отношении, он попеременно служил обеим христианским религиям; я запомнил его, главным образом, когда он находился — скажем так — в дремотном состоянии, будучи длительное время закрыт. К жизни он возвратился в тот период, о котором я здесь вспоминаю, то есть незадолго до моего отъезда. Когда полвека спустя я посетил эти столь так важные для меня места, связанные со столькими воспоминаниями, то с нескрываемым удивлением констатировал, что маленького костёла нет. В Народной Польше убирали религиозные символы из общественных мест, однако храмы не сносили. Этот, стоявший на отшибе, небольшой, незаметный, не мог никому помешать, даже личным врагам Господа Бога. Наверняка — думал я — сгорел. Оказалось, однако, что судьба его была не столь драматичной: его разобрали и перенесли в другое место, здесь он был не нужен, так как в деревне, поблизости, стоял большой каменный костел, который в мирное время прекрасно выполнял свою функцию, но в те времена доступ к нему, как и к прилегавшему кладбищу, был все еще затруднен, сопряжен с опасностью; на этой земле по-прежнему тлели конфликты — и вспыхивали то с большей, то с меньшей силой.

Именно в этом маленьком, как бы временном костёле произошло то, что лишь отрывочно запечатлелось в моей памяти. Однажды (это, несомненно, был будний день) люди увидели мужчину, лежавшего на полу вниз лицом, широко раскинув руки. Когда среди мальчишек распространилось известие, что в костеле что-то происходит, им стало интересно. Эта новость вызывала тем большее любопытство, что они еще никогда не видели ничего подобного. Мальчики были прекрасно знакомы с католической практикой, ходили к исповеди, сознавали, что в грехах нужно каяться, а потом в целости выполнять то, что ксендз задал в виде епитимьи. Как правило, она была небольшой — искупить провинность обычно можно было, произнеся несколько молитв. Однако здесь речь, должно быть, шла о значительных проступках, раз этот мужчина длительное время, кажется, несколько часов, лежал крестом или, как попросту говорили некоторые, ничком.

Необычная ситуация оживляла фантазию и побуждала к умножению домыслов. Они были направлены в разные стороны, в том числе и на ксендза, который в этих местах появился недавно, две, может быть, три недели тому назад, никак не более месяца. Его предшественника, молодого и симпатичного, хорошо знали и любили, он заслужил всеобщее признание, приобрел немалый авторитет; однако он уехал, перед ним поставили какие-то другие, наверняка еще более трудные и серьезные задачи. Этот новый значительно отличался от того, был намного старше, громогласно обличал суетность мира сего, осуждал грехи, совершаемые как подростками, так и взрослыми, поучал резким и безапелляционным тоном. Вскоре, однако, заметили, что он и сам не без греха — его видели выпившим, да и просто пьяным. Вид пошатывающегося священника, который должен служить образцом и примером, конечно, шокировал и вызывал комментарии, в которых звучало нескрываемое удивление и возмущение, а также явное неодобрение. Были и такие, кто задумывался, где этот ксендз, отличающийся тягой к рюмке, берет самогон (другие горячительные напитки были тогда в этих краях неизвестны), ведь в окрестностях не работали магазины, эта местность все еще была в значительной мере безлюдной. Вначале мальчишки стали рассуждать, не объясняется ли эта небывало трудная епитимья, исполняемая в таких условиях, что ее свидетелем может быть всякий, кто заглянет в этот крохотный деревенский костёл, суровостью нового ксендза, который, правда, позволяет себе пьянство и — возможно — был сослан к нам в наказание, а сам строг и от всех многого требует; тот ксендз, что нас покинул, мягкий, добрый и снисходительный, конечно не заставил бы вот так лежать крестом несколько часов.

Вскоре, однако, мальчишки будто бы забыли о ксендзе, их все больше интересовал сам кающийся, неподвижно лежавший в позе, тоже непривычной для них, ибо, хотя они и находились под опекой духовных лиц, следивших за тем, чтобы они воспитывались в согласии с принципами веры и приучались к всевозможным религиозным практикам, ничего подобного они никогда не видели, да и не слышали о такой форме искупления грехов. Они так пристально вглядывались в незнакомца, словно надеялись, что таким образом что-то выведают, догадаются и сделают явной его тайну, а затем узнают какую-то богатую событиями историю; один из ребят, будучи поклонником «Трилогии»¹, солидные тома которой неоднократно перечитывал от начала до конца, кажется, ожидал, что познакомится с приключениями, напоминающими те, что описаны в его любимых книгах. Они

ходили вокруг лежавшего, пытаясь рассмотреть его обращенное к полу лицо. Иногда заговаривали, однако он ни на что не реагировал, лежал крестом, словно застыл в такой позе, отойдя от исповедальни; похоже, он очень долго стоял в ней на коленях, его исповедь — как утверждал кто-то — растянулась на часы, хотя можно догадаться, что она была столь важна для него, что он не сумел бы измерить ее никакими, даже самыми точными часами и подчинить реальному времени. В принципе, он молчал. В принципе, потому что иногда он что-то бормотал, шептал что-то крайне тихо и неразборчиво, было трудно сказать, произносил ли он употребляемые в обычной речи слова, или бормотание вырывалось у него помимо его желания, а может быть, он даже и не ощущал, что невольно и бессознательно издает его. Лишь через некоторое время юные, но внимательные и заинтересованные этим случаем наблюдатели утвердились в убеждении, что кающийся молится, возможно, умоляет Бога о прощении, а издаваемые звуки — не бессмыслица, они не обращены к самому себе, как могло показаться поначалу, а направлены туда, ввысь, к небу. Лишь через некоторое время они разобрали общеизвестные молитвы, в том числе те, которые ежедневно по утрам, в полдень и вечером читались в приюте.

[1] Историческая трилогия Г. Сенкевича «Огнём и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский» — Прим. пер.

Мальчики со всех сторон обходили распростертого на церковном полу мужчину, можно сказать, обнюхивали его, что имело, впрочем, не только переносный смысл: им невольно приходилось это делать, так как от него исходил неприятный запах, та вонь, которую испускает застаревшая грязь. Некоторые задавались вопросом, когда же мужчина закончит эту тяжкую епитимию. Кто-то сказал, что тогда, когда отчитает «Богородицу» в предписанном исповедником количестве, другой рассудил с развязной откровенностью, даже грубостью: будет так лежать, пока ему ссать не захочется. Ни у кого не было часов, так что нельзя было ни установить момент, в который покаяние началось, ни определить, сколько часов оно длится. Спустя десятилетия я был бы склонен считать, что оно заняло меньше времени, чем казалось тогда. Однако нам в первую очередь было интересно, откуда и каким образом тот человек появился в этом месте, почти никем тогда не посещаемом, отрезанном от мира, замкнутом, хотя его не ограждали ни стены, ни заборы, ни рвы, наполненные водой. Кем он был? Вот именно: кем он был? В одном ни у кого не было

сомнений — это «наш». Ведь, не будь он нашим, то не пришел бы сюда, где мы исповедуем единственно истинную веру и где все мы без исключения принадлежим к нашему народу. Не будь он нашим, то подался бы в православную церковь, присоединился бы к тем, кто иначе крестится, иначе молится, иначе поет хвалу Господу Богу — и дураки, потому как не знают, что таких молитв и такого пения, какими бы красивыми они ни были, Он никогда не послушает. А раз это «наш», что же он натворил, чтобы заслужить такую епитимью? Убил? Наверняка, да: не обокрал же он кого-то; в те времена на этой истощенной земле, где господствовала нищета, немногим можно было поживиться, разве что силой или хитростью отобрать буханку хлеба у ее обладателя, чтобы утолить первый голод, либо несколько картофелин. Никакие другие большие грехи не приходили мальчишкам в голову. Но если бы он всего лишь присвоил что-то из жратвы, то не лежал бы крестом на церковном полу. А коли убил, то уж точно нашего, ведь расправясь он с кем-то из врагов, то не только не согрешил бы, а стал бы в один ряд с героями, такими как, скажем, эти наши славные рыцари, что бились под Грюнвальдом. Ему уж точно не пришлось бы исповедоваться в таком подвиге. Так кем же был тот таинственный мужчина?

Ответа на этот интригующий вопрос мальчишки не получили. Когда он, наконец, поднялся, а затем покинул костел, они увидели его во всей красе. Он был высоким, очень сутулым, страшно худым, заросшим; трудно, однако, было говорить о бороде: волосы росли в беспорядке, свидетельствовавшем о том, что у этого человека не было условий, чтобы побриться и постричься. Они не смогли бы определить его возраст. Конечно, он был взрослым, а им, еще детям, даже казался стариком, ведь разве каждый взрослый не старик? Он был одет в лохмотья, кто-то прямо сказал: оборванец, но это не привлекало особого внимания, все мы здесь были оборванными и все, кроме ксендза и монашек, ходили в летнее время босиком. Когда он уже был снаружи, с ним пытался заговорить то один, то другой, задавали вопросы, всем хотелось как можно скорее удовлетворить свое любопытство, однако от него мы не слышали ни слова; он молчал так упорно, как будто был немым. Своими длинными руками он делал такие жесты, словно хотел отмахнуться от докучавшей ему ребятни, словно хотел отогнать их, как назойливых мух. Он притих и явно жаждал лишь одного — чтобы его оставили в покое. По сторонам он не смотрел, можно было подумать, что он с давних пор хорошо знает эту местность, и в ней нет для него никаких тайн. Он шел вперед, не ускоряя шага, вел себя так, будто для него не имело значения, когда он достигнет своей цели,

впрочем, неизвестно, была ли она у него, может быть, он шел вперед, потому что ему не оставалось ничего другого. Он подошел к развилке проселочных дорог; до этого места мальчишки тянулись за ним, однако им пришлось вернуться: время было позднее, а кроме того, им запрещалось удаляться от приюта, ведь, хотя несколько месяцев тому назад война и закончилась, на этой земле встречались опасности. Ребятам было интересно, какую дорогу выберет мужчина, эту в лес или ту, что ведет к городку, лежавшему в нескольких километрах отсюда. Все указывало на то, что сомнений он не испытывал и выбрал ту вторую. Пришел он наверняка из леса, но возвращаться туда не собирался.

Тем летом я покинул местность, в которой пережил последний период оккупации и где жил некоторое время после нее. Не знаю, запомнил ли кто-либо из ребят кажавшегося мужчину, который, конечно же, никогда больше не появился в их мире, как никогда не появился в моем. Однако образ кающегося грешника вдруг вынырнул из моего все еще кипящего котла прошлого. Я решил, что стоит посвятить ему несколько слов, даже сознавая, что некоторые из них — это производная вымысла.

Из книги **M. Głowiński**, *Carska filiżanka*. Wielka Litera. Warszawa
2016

Перевод Владимира Окуня

Да здравствуют заговоры!

Теорий заговоров несравненно больше, чем заговоров. Так было и будет — по той причине, что значительно легче критиковать других, нежели сделать что-либо самому. Плетут заговоры, конечно же, люди действия, а вот высмеивают их вечно брюзжащие ворчуны-импотенты. Всякий, кто скажет, будто видеть во всем заговор — занятие примитивных людей, пусть поостережется, — ведь он сам может оказаться примитивом.

Люди, высмеивающие теории заговоров, в отличие от заговорщиков, мало креативны, поскольку им вполне достаточно жировать на чужой изобретательности. Кем оказались бы неустрашимые враги антисемитизма без антисемитов? Цезарий Михальский, публицист, который до недавнего времени был крайне правым, а теперь сделался крайне левым, в предыдущей своей ипостаси обвинял меня в том, что я занимаюсь отслеживанием бессимптомного антисемитизма. По мнению антисемитов, любые заговоры устраивают семиты вкупе с филосемитами — и наоборот. Принципиальное недоразумение заключается здесь в том, что заговорщики не признаются в заговорах, а их уличители и разоблачители — это нехорошие приверженцы отца Тадеуша Рыдзыка^[1], от которых приличный человек немедленно открестится.

В то же время правда такова, что заговоры были самым что ни есть подлинным двигателем евроатлантической цивилизации. Напомню, каким образом я совместно с известным социологом проф. Ниной Красько высказывался на данную тему 10 лет назад, поскольку мне по-прежнему нравится то, что я тогда сказал:

«Согласно "Словарю польского языка" заговор — это "тайное соглашение группы лиц для совместного достижения какой-либо цели; (преступный) сговор". Заговоры можно затевать, замышлять, устраивать, организовывать, подстраивать; можно к ним принадлежать и быть в них втянутым или впутанным. Заговоры затевались в истории неоднократно и с самыми разными целями — примером может служить пороховой заговор (Gunpowder Plot), организованный в 1605 г. с целью взорвать здание британского парламента вместе с находившимся там королем Яковом I, захватить власть

и восстановить в Англии католицизм. Девятнадцатый век, в том числе и в Польше эпохи разделов, видел множество заговоров, которые часто признавались справедливыми и достойными, о чем свидетельствует хотя бы популярное в польском языке устойчивое сочетание "патриотический заговор". Однако свои собственные заговоры (ввиду временной нехватки чужих) организовывала также царская охранка, чтобы затем торжественно разоблачать их и тем самым подтверждать необходимость своего существования. "Собственноручно затеянный заговор" гораздо легче запланировать, написать его сценарий, согласовать подробности, вовлечь в него новых лиц и в конечном итоге разоблачить его; он являет собой словно бы разновидность пьесы, своеобразный жанр искусства. Тем не менее, "Бесы" — превосходная книга.

Нужно отличать организаторов от исполнителей. Заговорщик — это человек, которого допустили к тайне. Если ему неизвестна цель заговора, то вполне можно сказать, что его, как и многих других, использовали, а значит, он является жертвой. Чем шире охват заговора, тем больше таких жертв.

Исторический процесс, который основан на теории заговоров, — это взгляд словно бы с другой стороны: не конспиративный и не конспирирующий, а разоблачающий, иначе говоря, деконспирирующий. Разоблачить, а тем самым выяснить и объяснить можно всё, что угодно, всю совокупность исторических событий, которыми — как мы слышим — управляют совершенно определенные люди, имеющие ясные цели, но скрывающие их, так же, как свои мотивы и формы действия. Масоны, сионские мудрецы, ложа Бнай-Брит, иезуиты, «Опус Деи», ЦРУ и другие тайные полиции, причем действующие даже в сотрудничестве с инопланетянами. Евреи в качестве главного действующего лица всевозможных теорий заговоров пережили тамплиеров, розенкрейцеров, вольных каменщиков, иезуитов и многих других.

Выявление того, что за каким-то событием или явлением стоит заговор, обладает целым рядом достоинств. Прежде всего, оно волнует и электризует, запуская ровно те же самые эмоции, которые в былые времена сопутствовали чтению романов Александра Дюма, а сегодня — просмотру американского телесериала «Секретные материалы» (The X-Files). Возбуждение порождает заинтересованность, которая, как известно, благоприятствует усвоению знаний. Обнаружение и описание заговора повышает ранг автора соответствующего анализа, поскольку людям видно, что он

сумел постичь тайны, недоступные рядовому небокоптителю. Помимо этого, разъяснение чего-либо посредством заговора — дело довольно простое, и оно доходит до всякого, кто верит, будто любая вещь обязательно должна иметь свою (простую) причину. Наконец, как мы уже сказали, заговорами удастся объяснить буквально всё — любые успехи и поражения обществ (особенно поражения; как говорят россияне: если в кране нет воды, значит, выпили жида), но в том числе и будоражащие нас события, например, политические убийства. Лев Троцкий, Джон Ф. Кеннеди, Роберт Ф. Кеннеди, Мартин Лютер Кинг мл., Джон Леннон и принцесса Диана непременно должны были погибнуть от рук заговорщиков, причем за убийцами не могли не скрываться конкретная организация и замысел. Теория заговоров умеет не только объяснять всё на свете, — но также всё со всем связать. Обычно она еще и не поддается фальсифицированию».

После такого напоминания мне уже, в сущности, остается добавить немного — пожалуй, всего четыре вещи. Во-первых, американскую конституцию составили масоны. Во-вторых, польскую конституцию 3 мая тоже составили масоны, и об этом есть смысл напомнить всем тем пылко почитающим ее сегодняшним патриотам, которым внушают отвращение всяческие циркули, передники и кельмы. В-третьих, Европейский союз. Когда удалось закончить не больно умную войну (поляки организовали для себя самое глупое восстание, какое только было возможно), самые разные заговорщики: французские, немецкие, бельгийские, итальянские, английские и прочие — учредили Европейское объединение угля и стали, зародыш сегодняшнего ЕС (кстати, применительно к немцам и итальянцам пришлось притворяться, будто они — приличные демократы). Обратим внимание на заговорщицкую «металлургическую» мимирию европейцев. «Уголь» и «сталь», чтобы править народами. Наконец, в-четвертых, — смертная казнь. Демократическое большинство народов жаждет убивать виновников тяжких преступлений с помпой и в полном величии права. С помощью больших и тайных усилий европейским элитам удалось преодолеть стародавнюю волю к убийству.

Если бы не заговоры, мы и дальше продолжали бы жить в грязной пещере. Если бы не заговорщики, мы бы уже вообще, думается, не жили. Мы выведем вас из мрака к свету.

Сергиуш Ковальский — публицист, социолог, переводчик. Автор книги «Критика солидарностного разума», соавтор

сборников «Ритуальный хаос» и «Вместо процесса».

1. Тадеуш Рыдзык — создатель и руководитель популярной ультраконсервативной радиостанции «Мария» религиозно-националистического толка. — Прим. пер.

Йонаш Кофта

Песнь уборщицы

Ох эти люди свинячут
Прям опускаются руки
Работают так свинячут
Спать ложатся свинячут
А всего больше свинячут от скуки

Ох у людей этих совести нету
И глядеть-то тошно на их безобразие
Заселятся в номер глядят порнографию до рассвета
Я все знаю, я во все их постели руками лазию

А еще когда эти люди с собой-то кончают
Так подумают посчитаются разве с другими?
Жах по венам! И все, ни за что больше не отвечают
А ты ползай с мокрой тряпкой потом, вытирай за ними
(С сухой не пойдет)

А я стараюсь я убираюсь
И я соображаю головой:
Все зло на свете оттого что люди эти
Не убирают за собой

Ох эти люди зла на них не хватает
Все им комфорт подавай, особенно молодежи
До того уже дошло, что в одних трусах отдыхают!
Я все знаю, я копаюсь во всей их одеже

Ох эти люди и хотят вроде сделать как лучше
А все равно потом насвинячено будет
Все только книжки читают и гроша с того не получат
Хоть убей не понимаю, что за люди

А я стараюсь я убираюсь
Я тоже человек живой!
Все зло на свете оттого что люди эти
Не убирают за собой

А я стараюсь я убираюсь
Кто хочет делать революцию — вперед
Вот только после
Пускай

За собой уберет!

Перевод Льва Оборина

Путешествующий философ

С Михалом Мильчареком беседует Татьяна Косинова

Михал Мильчарек занимается русской философией и путешествует по России. В Ягеллонском университете, где он совсем недавно защитил кандидатскую диссертацию по философии Василия Розанова, специально для него придумали курс североведения. В конце марта этого года Михал впервые начал рассказывать будущим славистам и русистам о Сибири, Русском Севере, их культуре и метафизике этих пространств. Вероятно, на сегодняшний день он — один из редких, если вообще не единственный поляк, объехавший автостопом 74 региона России. Не столько ради новомодного пространственного поворота, но из личных предпочтений, тянувшихся с детства, в каждой новой точке Михалу важно соотнести её с расположением на карте и координатами, определить, сформулировать и зафиксировать метафору места.

Среди достижений Мильчарека — первые переводы на польский основных текстов русского философа Николая Фёдорова (1829–1903) и комментарии к ним, переводы и комментарии к наследию Василия Розанова (1856–1919). Зимой 2016-го закончилась большая стажировка Михала в Петербурге. В марте 2016 мы побеседовали с ним о его научных интересах и философии русских пространств в Петербурге, куда он приезжал перед своим первым летним семестром в краковской alma mater в качестве преподавателя.

— Почему для своей кандидатской диссертации вы выбрали Василия Розанова?

— На польском языке существует только две книги о Розанове, они уже немножко устарели, потому что были написаны в начале 90-х годов, когда не все произведения Розанова были изданы или переизданы в самой России. Я решил написать о феномене Розанова в целом — с первой его книги «О понимании...» до последней «Апокалипсис нашего времени»,

потому что мне показалось: если отрицать поверхностный взгляд, то можно уловить некоторую идею, проходящую через все его сочинения, всю его философию. Для меня ключевая метафора — это древо жизни. Это ключ к творчеству Розанова.

— До этого вы впервые переводили на польский язык и комментировали Николая Фёдорова. Какая связь между Фёдоровым и Розановым? Вы нашли эту связь?

— Я выбрал Розанова как следующего философа, которым можно заниматься, именно потому, что он полная противоположность Фёдорову. У Фёдорова грандиозный проект — воскрешение всех мертвых, — который охватывает всю Вселенную, всё время — прошлое и будущее. У Розанова — наоборот: интимная философия, философия частной жизни, философия сексуальности. Между тем Фёдоров рассматривал сексуальность как проявление слепой природы, которую нужно как-то преодолеть. Но есть одна точка, общая и у Фёдорова, и у Розанова. И тот, и другой защищали саму идею жизни. Только Розанов хотел это делать путем продолжения рода, плодovitости, сексуальности, а Фёдоров путем воскрешения всех мертвых, но и тут, и там — всюду жизнь. Храним жизнь, и пусть жизнь торжествует, хотя абсолютно противоположными путями они шли к этому.

— Вы открыли для себя польский Петербург?

— Для меня личным и главным польским присутствием здесь был след Станислава Игнация Виткевича, более известного как Виткаций. Это польский художник, писатель, философ межвоенного двадцатилетия XX века. Время Первой мировой войны — с 1914 по 1918 год — он прожил в Петербурге, будучи тогда еще довольно молодым человеком. Ему было 30–35 лет, примерно столько, сколько мне сейчас. Тут он вступил в русскую армию. Дело в том, что, как он потом писал в своих книгах и рассказывал, именно здесь, в Питере, сформировалось его мирозерцание. Оно было катастрофическим, потому что он видел здесь Октябрьскую революцию, и для него это была катастрофа.

— И участвовал в ней.

— Как офицер Павловского полка, который, как известно, начал Февральскую революцию, он в некотором смысле участвовал в ней...

— В Октябрьской революции Павловский полк тоже участвовал и был опорой большевиков, а Виткаций уволился из Павловского

полка лишь в середине ноября 1917 года по старому стилю.

— У Виткация тогда уже была справка от врача после контузии в 1916 году, он уже хотел из армии как-то уйти, но, конечно, это было не так просто. Но, главное, сформировалось его катастрофическое мирозерцание: все умирает, идет уничтожение философии, религии, искусства как проявления человеческой, метафизической сущности. Всё это исчезнет, приходит новое время, будет какая-то механизированная жизнь, без высших метафизических чувств, касающихся искусства.

— *Вы с ним согласны?*

— В некотором смысле, да. Советский Союз можно рассматривать как исполнение его опасений. Он покончил жизнь самоубийством через день после того, как Красная армия в 1939 году вошла в Польшу, потому что боялся, что его предчувствия начнут сбываться, опасения станут реальностью.

— *Оказалось, что к занятиям философией Михала Мильчарека подтолкнуло чтение романов Станислава Игниця Виткевича.*

— К Виткацию у меня личное отношение. В средней школе он открыл для меня философию. Я начал изучать философию, прочитав его художественные романы, в которых содержится просто очень много философии. Потом я прочитал все его книги, все его биографии и научные работы о нем. У других польских авторов такого нет, он сильно выделяется.

— *Во время стажировки в Петербурге для вас были важны какие-то места в топографии города, связанные с Виткевичем, дома, где он жил и бывал? Вы их нашли?*

— Конечно, я нашел казармы Павловского полка на Марсовом поле. Это легко найти, потому что это общеизвестное место. Буквально месяц назад [февраль 2016] на польском языке вышла хорошая книга «Война Виткация» польского автора Кшиштофа Дубельского. Было много белых пятен, касающихся жизни Виткевича в Питере. Дубельский в некоторой степени эти тайны раскрыл, описав на 300-х страницах его жизнь. Теперь я знаю, что когда он приехал в Петроград в 1914 году, то сначала жил на Надеждинской улице, нынешней улице Маяковского, потом — на улице Декабристов. По улице Маяковского я проходил и нашел этот дом — дом №3, он сохранился.

— *Вы прожили в Петербурге 15 месяцев. Это много или мало?*

— Это, с одной стороны, много, потому что можно обойти весь город, все улицы, все музеи. Но, с другой стороны, это мало, потому что я часто уезжал. Мне было очень жалко отсюда уезжать, мне не хотелось уезжать, потому что город крайне вдохновляет, он чрезвычайно интересный прежде всего в метафизическом и поэтическом плане.

— *А какая для него нашлась метафора или метафоры?*

— Он сам — метафора. Слова одного я не смогу подобрать. Он был построен искусственно на избранном месте, а не вырос органично как дерево. Он искусственно посажен, рожден в чьей-то голове, в голове Петра Первого, в его воображении. Это воображенный город. Это влияет на ощущение реальности здесь — здесь есть проблема с реальностью. Во-первых, город кажется каким-то сном, какой-то иллюзией. Во-вторых, он по сути город очень абстрактный, отвлеченный, как линия между землей и небом, как абстракция, как геометрия. Это все здесь словно нереальное. Петербург — город, оторванный от земли, не имеющий с ней связи. Он холодный. Он как отец. Можно сказать, Москва — мать, она как женщина, у нее женские черты, а у Петербурга — более мужские, отвлеченные, холодные. Вот именно геометрическое, рациональное, упорядоченное. Но это оторванность от земли, от земли как источника жизни, как источника органической жизни. Он словно в воздухе немножко висит. Таких ощущений у меня тут было очень много. Особенно в самом начале, когда я ещё не успел привыкнуть к городу. Я только приехал, шел по улице, и мне казалось, что все это сон, что я исполняю чью-то роль в чьей-то чужой для меня пьесе. Она еще и мрачная, эта пьеса, потому что свинцовые облака постоянно висят над городом, и так далее, и так далее. Так что ощущение, что я где-то во сне.

И, кстати, когда уезжаешь из Петербурга в Россию, в какую-то центральную Россию — в Рязань, в Воронеж, в Тамбов, не имеет значения, — он кажется ещё менее реальным. Он призрак, воздушный, красивый, манящий. Так что город очень вдохновляет.

— *За 15 месяцев вы успели побывать во многих местах в России. Где вы путешествовали? Расскажите.*

— Я много ездил по Европейской части, но главным путешествием была поездка в Сибирь. Я полетел в Красноярск и оттуда отправился в бывший Эвенкийский автономный округ. Сейчас это центр Красноярского края, а раньше был отдельный округ. Туда можно добраться по суше только зимой, то есть там нет постоянных дорог, а есть так называемые зимники. Когда

все замерзает, реки замерзают, чистят такую зимнюю дорогу, по ней машины ездят, завозят топливо, грузы, продукты и так далее. Я туда добирался автостопом. Это полные 4 дня езды. Конечно, морозы были — минус 35 минимально, но это не так страшно, если хорошо одеться, и если есть горячий чай в термосе.

Еще меня привлекает центр азиатского материка, самого большого континента планеты. Географически он расположен в Туве, то есть тоже в России. В городе Кызыл даже есть памятник географическому центру Азии, там тоже интересно. Это изобилие суши, тысячи километров суши. Или, к примеру, Эвенкия — это географический центр России. И что оказалось? Центр России — пустота. Потому что вся Эвенкия занимает территорию Турции, это 600 или 700 тысяч квадратных километров, а там проживает всего лишь 14 или 15 тысяч человек. То есть плотность населения меньше, чем в Гренландии.

Потом я уже поехал дальше, частично на поездах, чтобы экономить время, частично автостопом. В Бурятию, Забайкальский край, в Читу и Агинское. Был такой Агинский Бурятский автономный округ. У меня, кстати, цель — посетить все регионы России.

— А как лучше всего путешествовать, чтобы понимать смыслы места?

— Общего метода нет. Главное — вообще путешествовать. А уж метод — это второстепенное. Но я очень много путешествовал автостопом. Ну, как много? Один экватор проехал — автостопщики считают экваторами, то есть 40 тысяч километров. Примерно один экватор я проехал именно автостопом. Автостоп, конечно, имеет много преимуществ в этом плане. Но для того, чтобы улавливать метафизическую сущность пространства, он не является ключевым условием, он важен скорее для какого-то экзистенциального опыта. Человек один выходит из дома, это его решение, он оставляет весь знакомый мир где-то за собой и не знает, что его ждет. Он идет прямо в мир, один — в чужой ему мир. И он верит в этот мир, что он в этом мире не погибнет, он идет, достигает цели, к которой стремится. Другие люди, раньше совершенно ему не знакомые, разные водители будут его подвозить, с их помощью он доедет. И, разумеется, смысл абсолютно не в халяве — мол, это бесплатно, жалко денег, можно доехать бесплатно. Нет, абсолютно не в этом. Тут деньги — не вопрос. Вопрос вот именно в экзистенциальном плане отрыва от прежнего мира: я один — и вся Земля. Как будто я иду на встречу с этой планетой,

с Землей. Это первое. Второе — есть этический момент очень сильный. Вот машина, водитель в этой машине останавливается (или проезжает мимо), а я стою со своей вытянутой рукой, голосую как будто с вопросом, выраженным без слов: «Ты помоги мне, я такой же человек, как и ты». Да? И это мгновение, несколько секунд, и машина проезжает, может, следующая возьмет, если эта не остановится. А он остановится либо не остановится. Он поймет и скажет «да» этой моей немой просьбе или проедет мимо, я не стану для него человеком, таким же, как он сам, которому просто можно помочь, потому что по пути. Он ничего не теряет, я тоже ничего не дам ему, кроме общения, кроме того, что я просто буду с ним ехать. То есть здесь измерения этические, но есть, конечно, еще некое метафизическое измерение. Оно в плане общего, уже не про географию, оно про метафизику или метафизику экзистенциального бытия или бытия человека: будущее остается абсолютно неизвестным, я не знаю, как сложится данный день, не знаю, с кем я буду ехать, во сколько уеду, какие будут конфигурации машин? Я сел в одну машину — она меня довезла до какого-то перекрестка или деревни, городка и так далее, там я пересел на другую. А если бы я не сел в эту машину, может быть, другая довезла бы меня в другое место, всё сложилось бы по-другому. Поэтому я утром выхожу на трассу просто в состоянии восторга. Это чистый физический восторг, как будто я иду на свидание с девушкой. В таком же восторге я выхожу утром на трассу. А когда погода хорошая, вообще приятно выходить. Когда дождь, немножко хуже. То есть на встречу с будущим, с чистым неизвестным будущим, которое будет рождаться на моих глазах и с моим участием. Я к нему иду, а оно ко мне приходит. И это фантастические ощущения — ощущения будущего, сталкивающегося со мной, это как будто рождение мира, рождение Вселенной заново. Словно действительность рождается на моих глазах. Это магическая точка столкновения, рождения действительности. Это фантастика, *Big Bang*, который повторяется и повторяется до бесконечности. И можно вот так объехать всю Землю.

— В этой экзистенции, в вашей концепции путешествия как рождения действительности, как повторяющегося большого взрыва присутствует национальный момент?

— Да, он существует, но, я бы сказал, на втором плане. Точно не на первом. То есть, конечно, находясь в Мавритании, России, Индии или Австралии, я осознаю, где я нахожусь, в какой культуре, в каком языке и так далее. Это имеет значение, все это познавательно и интересно. Но важнее для меня внациональный, универсальный, общечеловеческий момент.

Можно сказать, философский — первостепенна самая сущность этого передвижения. И в Мавритании, и в России, и в Австралии происходит примерно одно и то же, только в другой языковой и культурной среде. Но в этом своя суть тоже заложена, потому что в этом разнообразие. Если бы все были одинаковы, если бы этот второй план — план языка, культуры, национальности — вообще не существовал, было бы абсолютно скучно путешествовать, потому что была бы одна природа, и все мы похожи, одинаковы — чего-то бы не хватало. А так просто интересно. Это интересно, но на другом уже уровне. Все эти уровни существуют и действуют одновременно.

— Вы нашли какие-нибудь места, в которых бы точно хотели жить, остаться?

— Да. Но вопрос сложный. Есть такие места, в которых человеку очень нравится: ой, хорошо бы здесь остаться, как здесь красиво... Но что я здесь буду делать? Существует уровень реальной жизни, где нужно работать и как-то действовать. Может быть, место, где я бы хотел жить, — это мое последнее открытие, Новая Зеландия, где я был в ноябре 2015, куда летал еще из России. Я закончил писать кандидатскую про Розанова и решил, что у меня есть свободный месяц. Это был ноябрь. Ноябрь — это, наверное, один из самых плохих месяцев для путешествий по России, потому что лето уже давно закончилось, но настоящая зима еще не началась. А добраться до всех этих поселков можно только по зимникам, зимним дорогам. И я решил: ладно, поеду в Южное полушарие. Тем более, что нашел дешевые билеты в Австралию и Новую Зеландию. Новая Зеландия прекрасна тем, что там очень много природы и довольно мало людей. Интересна ее оторванность от остального мира. Но она далеко: до Австралии лететь на самолете два с половиной, три часа, а дальше ничего — маленькие островки, огромный Тихий океан и Антарктида на юге. Это прекрасно, это абсолютный простор — два острова, Южный и Северный, а между ними горы. Там чудесная природа, своеобразная: остров был изолирован последние 80 миллионов лет, 80% видов животных и растений эндемические и существуют только там, фьорды, туманы, ветра, красивое небо — замечательная страна. Там, наверное, приятно жить, это богатая страна, где можно найти какую-то работу.

Еще я с удовольствием пожил бы какое-то время в России, где-нибудь на Чукотке или, может быть, на Камчатке, на севере. Но в России сложно жить из-за всяких бюрократических проблем: виза, регистрации и т.д., нельзя просто приехать. То есть это

крайний север — Чукотка, или крайний юг — Новая Зеландия. В Европе я, может быть, в Исландии хотел бы жить? Я еще там не был, но мне так кажется, что мне понравится, потому что там тоже вулканы, тундра, простор и океан вокруг.

Может быть, я такой человек, что люблю все менять, люблю открывать новое. Я поехал в Казахстан, в следующий раз мне хочется на Мадагаскар, потому что это остров, другой климатический пояс и все совершенно другое. И ещё хорошо в этом то, что на Мадагаскар хорошо смотреть из Казахстана, а на Казахстан — с Мадагаскара, потому что они абсолютно разные. И тем самым выявляют свою сущность. Человек так начинает лучше понимать сущность данного места, если он видит больше. Это как бы тождество рождается в столкновении с чем-то другим. Я понимаю, кто такой я сам, когда сталкиваюсь с кем-то другим. Зимой в прошлом году я был в Сибири, Бурятии, Чите и Улан-Удэ. В самом конце путешествия я немножко устал, было уже слишком много впечатлений, и в Чите меня очень сильная тоска охватила. Это была тоска суши, середины континента: до Пекина оттуда 2 тысячи километров, до Владивостока — 3 тысячи километров, до Иркутска (большого города, бывшей столицы региона в царские времена) — тысяча километров, а до Москвы вообще 6,5 тысяч километров. И везде такая полустепь, тайга, и ничего нет. И взяла меня тоска необъятного пространства, тоска середины континента. В Улан-Удэ — то же самое. Это началось в Улан-Удэ, а потом в Чите усилилось. Но эта тоска была мне интересна в метафизическом плане. Это было новое чувство, связанное именно с простором, с географией, с фатализмом географии. Есть такое понятие: диктатура места. И мне в Чите и в Улан-Удэ очень захотелось в Гайану или в Колумбию, то есть чего-то прямо противоположного. Вот. Интересно: Гайана приходит к человеку в Чите и в Улан-Удэ. Это такой большой абсолютный разрыв между ними, и они где-то там в моем воображении соединились или встретились.

— А что вы будете делать, когда побываете уже везде?

— Ой, я всюду, наверное, никогда не побываю, это сложно, да и накладно в финансовом плане. Хотя большинство стран, большинство мест на планете, вопреки мнению, что путешествовать — это очень дорого, вполне доступны. Там много денег не нужно. Есть труднодоступные страны, где дорог никаких нет, где мало кто летает, где визу очень сложно получить — к примеру, Чад, Папуа — Новая Гвинея или Сомали, где война.

У меня есть цель: посетить все регионы России. Это немножко такая мания. В России я был уже много раз, более 20. В общей сложности я прожил здесь два с половиной года: в Москве — 9 месяцев, на разных стажировках когда-то, в Петербурге сейчас прожил 15 месяцев. В какой-то момент я посчитал, сколько регионов посетил, — получилось сорок. Сорок! На карте себе обозначил: здесь был, здесь не был, просто такие детские игры. Потом поехал автостопом в Сибирь. Сколько там по пути областей всяких? Получилось уже 54. Это не нужно воспринимать слишком серьезно, это просто такой проект. Вопрос, сколько их всего? Потому что их количество в 2005–2007 годы все время менялось во время административно-территориальной реформы. Допустим, Красноярский край образовался из Эвенкийского автономного округа или Долгано-Таймырского автономного округа, но теперь их нет, а я их все равно считаю как отдельные регионы. Я решил исходить из того, что на момент распада СССР было 87 регионов. Сейчас я побывал в семидесяти. Причем честно: если на поезде проезжать через них или автостопом — это не считается. Нужно заехать в город, что-то там посмотреть и так далее. Исходя из таких подсчетов, мне осталось 17 регионов. Большинство из них — 14 — находятся в Европейской части России, кроме Ненецкого автономного округа, поэтому они очень легкодоступны. До сих пор я не был в Костроме, в городе Иваново, в Самаре, Пензе, Саранске. Самое сложное — попасть на Таймыр или в Норильск и Дудинку, с 2001 года они закрыты для иностранцев.

— *А Польшу вы так же хорошо знаете?*

— Ой, Польшу я знаю хуже, чем Россию. У нас регионов сколько? Семнадцать, если я не ошибаюсь. Да. Ну, я еще не во всех был. Хотя это гораздо легче, там никаких, понятно, разрешений не надо и вообще всё доступно. Но у нас нет космического измерения природы, то есть она не проявляется в космическом измерении, поэтому не так интересно путешествовать, как по России. В России интересно, тут есть и тундра, и Чукотка, а, с другой стороны, есть Чечня и Дагестан, это абсолютно разные регионы в культурном, природном и общественном отношениях.